



Литература
Проза XX века

Е Л Е Н А

ЧУДИНОВА

Р О М А Н

Колдовской
ребёнок.

Дочь
Тумилёва



Проза нового века

Елена Чудинова

**Колдовской ребенок.
Дочь Гумилева**

«ВЕЧЕ»

2021

Чудинова Е. П.

Колдовской ребенок. Дочь Гумилева / Е. П. Чудинова —
«ВЕЧЕ», 2021 — (Проза нового века)

ISBN 978-5-4484-8727-9

Новый роман Елены Чудиновой посвящен тем, кто погибал и выживал в блокадном Ленинграде. Трагическая судьба юной девушки переплетена с важнейшими событиями эпохи. Роман состоит из двух частей. Книга первая «Жизнь в тени анчара» описывает жизнь Лены до начала войны. В ней рассказывается о семье Энгельгардтов-Гумилевых, о предвоенном десятилетии в истории города. Книга вторая «Костяная длань» о мужестве и смерти. В блокаду погибают родные Лены: бабушка, дед, мать... Гибнет, совершая подвиг, близкий друг Юрий Задонский. Девушка остается одна. Что же случается с нею – в последний день ее земного бытия? С нею должно случиться что-то необыкновенное. Ведь она – Дочь Поэта.

ISBN 978-5-4484-8727-9

© Чудинова Е. П., 2021

© ВЕЧЕ, 2021

Содержание

Елена Чудинова	5
Книга I. Под сенью анчара	6
Пролог	6
1931	9
Глава I. Внучка и дед	9
Глава II. Из мест отдаленных	13
Глава III. Июньский май	16
Глава IV. Покровительство гения	23
Глава V. Обманщица Шамбала	26
Глава VI. Фундамент пандемониума	32
Глава VII. Женщины и поэты	36
Глава VIII. Таинственный ВИР	41
Глава IX. Страшнее смерти	45
Глава X. Единственный	47
Глава XI. Удар в спину	50
1934	54
Глава XII. Юные души	54
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Елена Чудинова Колдовской ребенок. Дочь Гумилева

© Чудинова Е.П., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

* * *

Мне хотелось бы выразить сердечную благодарность Антону Сергеевичу Громову, содействовавшему и сопереживавшему написанию этой книги. Мне хотелось бы порадоваться этой книгой Г.Н. Энгельгардта. Мне хотелось бы надеяться, что автору удалось вывести из недоброго забвения эту маленькую тень.

Книга I. Под сенью анчара

Пролог

– Нигде нету... – Губы Люси дрожали, предвещая слёзы. – Всю раздевалку обыскала. И за скамейками смотрела, и под матами.

– А в шкафчике проверила хорошо? – Клара получала несомненное удовольствие от происшествия, известного покуда только трем пятиклассницам. Но если всё не обойдется благополучно, лишь до поры.

– Первым делом в шкафчике. – Люся перекинула за спину назойливую короткую косичку – одну из четырёх. С тех пор как четыре косички сделались модными среди молодых актрис кино, всем девочкам хотелось их плести. Хотелось всем, но плели не все. На бедных волосах четыре косички выглядят жалко. Люсины же волосы, жестковатые, пышные и рыжие, были просто созданы для модного плетения. – Но ведь это же не галстук! Это же только зажим! Это не то же самое, что галстук потерять...

– А вот тут ты, Гладкова, сильно ошибаешься. – Клара снисходительно и торжествующе улыбнулась. – Галстук – символ пионерской организации, да. Но зажим с нашим пионерским костром и девизом – он не просто так, он – часть галстука. Что, если ты потеряешь из трех секретных бумаг только одну, а ее подберут шпионы, так тебе, выходит, можно секретные бумаги доверять? Или ты думаешь, галстук это просто так, пошла да купила новый, как пенал какой-нибудь? Без зажима галстук не носят, выходит...

Люся еле держалась, сказанное Кларой она понимала и без того. Понимала и то, что Кларины слова – только начало позора и кошмара: линейки, классного часа, неизвестно, чего ещё...

Третья из девочек, усевшихся, как воробушки, на поребрике во дворе-колодце на улице Чехова, что даже самые лояльные взрослые по старой памяти то и дело называли Эртелевым переулком, подняла взгляд от своего ботинка. Запахнуть выскользнувший шнурок на место мешал растрепавшийся эглет.

– Есть способ найти. Если не боишься.

– Какой способ? – Люся судорожно выдохнула. – Какой, Леночка? Я не боюсь ничего, только бы найти зажим!

– Смотри. Я предупредила.

– Глупости какие-нибудь, как всегда, – фыркнула Клара.

– Лурье, отстань! – Непролитые еще слезы так и звенели в Люсином голосе. – Вдруг поможет. Что за способ, скажи?

– Надо будет еще раз поискать. – Лена посмотрела однокласснице в глаза. У самой Лены глаза были серыми, личико – бледным, май еще не тронул его даже легкой тенью загара. Впрочем, загар и летом плохо ложился на Ленино лицо. – Но сначала – кое-что сделать.

– Ну? Что сделать?

Вслед за Люсей невольно затаила дыхание и Клара. Обе с нетерпением и не без сладковатого холодящего предчувствия смотрели на Лену.

– Надо сказать: «Я прошу Надежду Павловну Коханову найти мою вещь», – проговорила Лена веско.

– А кто это? – с испугом спросила Люся.

– Одна пожилая дама. Она всегда одета в чёрное. И саквояж у нее черный. Она с этим саквояжем и зонтом-тростью, в шляпке с вуалью, иногда ездит пассажиркой по Николаевской дороге. Давно уже ездит. Много лет. Один раз ехал путиловский инженер с семьёй. И вот

потеряли они бумажник, а там и деньги, и бумаги, всё. Искали-искали. А дама им вдруг говорит: «Поищите еще раз на багажной полке». Сунулись искать. Ну и тут же нашли. Обрадовались, конечно. А дама им: «В другой раз, где б ни были, если что важное потеряете, попросите помочь Надежду Павловну Коханову. Это я».

– И что? Если я скажу, то найду? – заморожено спросила Люся.

– А ты попробуй.

Люся некоторое время промедлила, в нерешительности теребя опять упавшую на грудь косичку.

– Сбежать, что ли, еще разок в школу? – наконец произнесла она. – Матвейч еще не запер.

– Как хочешь, – холодно уронила Лена. – Я тебя не уговариваю.

– Глупости. – Клара встряхнула головой, стряхивая очарование рассказа, как собачонка воду. – Ничего ты не найдешь уже. Завтра придешь в школу в нескрепленном галстуке, тут с тебя и спросят.

Эти слова положили конец Люсиным колебаниям. Она решительно поднялась.

– Лена, ты мой портфель поддержишь? Я скоро.

– Ты забыла. – Лена переложила Люсин портфель к своим книжкам. У Лены портфеля не было – только давно вышедшие из обихода потертые ремешки.

– А... – Люся некоторое время собиралась с духом, кусая губу. – Я прошу Надежду ...

– Надежду Павловну Коханову.

– Я прошу Надежду Павловну Коханову найти... найти мой зажим. От пионерского галстука.

– Да уж она, верно, сама знает, какой зажим, – сказала Лена.

– А признайся, ты это нарочно? – усмехнулась Клара вслед стуку Люсиных туфель. – Разыграла, да? Люська сейчас вернется ни с чем, а ты ей – ха-ха, заподлянка?

Лена отвернулась, поправляя бархатную черную ленту на волосах. Волосы, прямые нежные волосы золотистой блондинки, спадали, распущенными, на шупленькие плечи. Ниже по ним прошлись ножницы – и ножницы эти принадлежали не парикмахеру.

Одноклассницы некоторое время ждали молча. Как часто бывает в дружбах девочек, всегда непростых, Клара и Лена между собой не были хороши. Компания складывалась из-за Люси, с которой водилась по отдельности каждая.

Клара принялась перебирать учебники в своем портфеле, Лена гоняла маленьким зеркальцем солнечного зайчика.

– Нашла!!! – Люся запыхалась – от бега или от волнения. Рука ее была накрепко сжата в кулак. Только поравнявшись с одноклассницами и остановившись, она решила разжать ладонь. – В ящике для сменки!

На вспотевшей ладошке проблеснул красной краской трезубчик стилизованного костра.

Некоторое время три девочки стоя разглядывали его, склонившись над ладонью, словно пойманную редкую букашку.

– Всего-то и надо было поискать получше, без паники. – Клара подобралась, словно изготовившаяся к прыжку черноголовая змейка. – Ты же пионерка, Гладкова. Верить во всякие суеверия – это для пионерки не многим лучше, чем важными вещами расшвыриваться.

– Я... Ну ведь я же искала. – Люся смешалась.

– Плохо искала, только и всего. Это Гумилёвой можно суеверия разводять, она не пионерка. И не примут ее нипочем все равно. Она ж лишенка! А ты – ты советская девочка? Твои родители паспортизацию прошли?

– Я... да. Конечно, я советская пионерка. – Люся отвела взгляд от Лены. – Я вправду плохо искала.

– Вот то-то. Ну что, идём?

Две девочки подняли портфели. Лена даже не нагнулась к своим книжкам. Ни Люся, ни Клара не решились ничего ей сказать. Уверенность вдруг оставила и Клару, хотя она вроде бы и взяла верх.

Не попрощавшись, две школьницы зашагали прочь со двора.

Лена стояла прямо, глядя им вслед. Руки в карманах перелицованной жакетки, ремешки с учебниками – у ног.

– Надежда Павловна, а мне вот кажется... – недобро улыбаясь, прошептала она. – Мне кажется, что мы и затерять можем, не только отыскать? Что там зажим? Пусть-ка Кларка потеряет весь галстук. Ведь мы с вами подружились, правда же, Надежда Павловна?

1931

Глава I. Внучка и дед

Тук... Тук... Тук-тук-тук!

Пять ударов морзянки в старую дверь прозвучали негромко, но отчетливо: семёрка.

– Заходи, стрекоза. – Николай Александрович Энгельгардт оторвался от бумаг. – Как изволишь благоденствовать? Сегодня обошлось без драк, надеюсь?

– Дедушка, ну что же ты такое придумываешь? Какие в пятом классе могут быть драки?

– В самом деле, как это я так оплошал.

Вид невесомой фигурки, остановившейся в дверях, отозвался в сердце ноющей тоской. Темно-синяя жакетка, уже короткая в рукавах, такая же юбка, и тоже уже короткая. В облике Лены не сквозило обещания красоты, что бывает в девочках так прелестно. Не будущая женщина, а болотный огонёк. И, невзирая на бесплотность, неуклюжа. Даже дивные золотистые волосы слишком непослушны и пушисты, вырываются через час на волю из любой прически.

И странный этот ее характер... Всегда серьёзная. Почти не шутит, редко, совсем редко смеется. А ведь ее никак не назовешь ни печальной, ни грустной. Очень живая, любознательная, деятельная. Но на что смешное разве что улыбнется слегка, не больше, да и то почему-то кажется, что единственно из вежливости.

Самая любимая. Единственное, что осталось на руинах бытия.

За шутивым вопросом Николай Александрович прятал каждый раз тревогу. Драки позади, но безобидней ли то, что их заменит? А все ж: хоть нет прежнего испуга, с каким еще ушибом воротится домой Леночка. Еле-еле он себя сдерживал, чтобы не пойти в школу! Но заступничество родных в школьных драках выходит детям боком. Когда б еще не совместное это дурацкое обучение!

Лена с удовольствием швырнула книги куда-то под шкаф. В комнате было слишком тесно. Спальный гарнитур теснил обеденный стол, стол письменный наступал на комод. Но девочке, не выдавшей, как бывает иначе, все здесь – темное, тяжелое, дубовое, как на корабле, – казалось самым уютным местом на свете. Рисунок обоев не видно – книжные полки, резные старые и плохонькие новые, заняли все стены. Мать Божия на потемневшей иконе как всегда смотрит добро, словно прекрасно знает все Ленины промашки, но не сердится. Хоть и держит на каждой ладони по три грозных прямых меча – остриями вниз.

«Зачем Матери Божией мечи?» – спрашивала Лена маленькой.

«Чтобы защитить тебя».

«Дедушка, но пусть Она не ранит своих ладошек! Лучше ты защитишь нас обеих!»

«Я могу уйти в Страну Невидимок. Помнишь, я тебе рассказывал? Ну, как Андрей Иванович. А Божия Мать с тобой будет всегда. Не забывай об этом».

Лена уже знала, впрочем, что Страны Невидимок не существует. Она же большая, одиннадцать лет. Это дедушка про аресты говорил, чтобы ее не пугать. Она теперь не боится. Но дедушку не арестуют, нет. Арестовали Андрея Ивановича, который вырезывал для нее из картона чудесных кувыркающихся акробатов. Соорудив из карандаша турник, она, сидя у дедушки на колене, играла очередным кувыркнуном, пока дедушка и гость горячо обсуждали что-то непонятное под названием «филология». Потом арестовали дядю Serge, который был вовсе не дядя, а папа эби. Мама хотела выйти за дядю Serge замуж и очень плакала. А эби, с которой было так весело играть, сейчас в Луге, там для маленькой лучше. И бабушка с ней. Но больше не арестуют никого. Надо только придумать, кого об этом попросить.

В этой комнате Лене было вольготнее, чем у себя. По счастью, еще ею не понимаемому, семья сохранила за собой две комнаты: одну за старшими, Энгельгардтами, вторую за Гумилёвыми.

– Мама только завтра из Москвы будет. Мы с тобою обедаем одни. Ты что-нибудь ела в школе? Или вовсе голодна?

– Я не люблю есть в школьной столовой. Там готовят перловый суп. Он противный. Я люблю пирожное... Дедушка, а кондитерскую закрыли. Замок на дверях и витрину уже забили мелом. А Грета Людвиговна делала такие вкусные пти-фуры и меренги.

– У Греты Людвиговны было частное предприятие, душа моя. – Энгельгардт нахмурился. – Боюсь, что с пти-фурами придется погодить. Но не расстраивайся. Попросим в воскресенье маму испечь нам мильфёй.

– Девочки в классе называют мильфёй «Наполеоном», – сообщила Лена.

– Самое умное имя для пирожного, – развеселился Николай Александрович. – У меня де наполеоновские планы: купить «наполеон» и съесть. Книжки-то с пола подними. Негоже.

– Так это же учебники.

– А учебники – не книги?

– Дедушка, нет! – возразила девочка с видом совершенного убеждения. – Книжки – их хочешь читать, а тебе не всегда разрешают. А учебники – их читать не хочешь, а тебя всегда заставляют.

– Звучит убедительно. Ладно, ступай мыть руки и садись за стол.

Девочка подавила вздох. Николай Александрович сделал вид, будто ничего не заметил. Бывать на кухне, своего рода клубе жильцов коммунальной квартиры, Лене категорически запрещалось.

На кухне, по счастью, никого не оказалось, кроме разве что притулившегося у плиты соседского рыжего кота. Энгельгардт подошел к третьему из четырех кухонных, покрытых клеенками столов, выстроившихся в унылый ряд.

Керосин вроде бы должен еще быть. Энгельгардт встряхнул бутылку. Да, есть. Понадеемся, что Дом Премудрого Цыпленка сегодня не расположен капризничать.

Считать медного треного уродца алхимическим перегонным кубом было всё ж веселее, чем мучиться попросту. А вправду, найдись сие тогда, в амбаре Курского имения, вперемешку с теми каббалистическими рукописями, что остались от тестя, Михаил Юрьевича Вильегорского... Определенно бы подумал, что покойный граф использовал подозрительный предмет для безуспешного создания золота...

Примус пыхнул первыми язычками огня. Энгельгардт поставил сковородку. Утренний вареный картофель остыл, но если нарезать крупными ломтиками и добавить несколько кусочков оставшегося сала... Будет прелюбопытно. Лена любит шкварки.

А ведь словно чужой кажется жизнь, где легче было найти алхимический куб, чем примус. Жизнь другого человека, прочтенная в полузабытой книге.

«Мы меняем души, не тела».

Это правда. Ах, Ленок, Ленок...

Тонкие лепестки сала, наливаясь янтарной прозрачностью, зашипели, соблазнительно запахло. Да, шкварки наш эльф любит не меньше пирожных.

Энгельгардт поморщился, как от мигрени. После недавнего и, называя вещи своими именами, вынужденного во избежание худшего выхода на пенсию, с финансами сделалось еще труднее¹. На заслуженное «послешкольное» буше денег хватает, кондитерскую вот закрыли некстати. Но Ленке нужно больше фруктов, фруктов и мяса. Бульоны весьма неплохи из

¹ Николай Александрович преподавал в институте Живого слова, параллельно, по первому образованию, был библиографом в библиотеке Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

костей, это невеликий расход, но как же дороги на базаре баранина, говядина, куры... Базар дорог, в магазинах пусто. Баранья котлетка перепадает ребенку не чаще, чем раз в неделю.

Лена должна хорошо питаться. Дочь делает все, что может, но многого не видит. Грех ее винить. Только молодая душа немного оттаяла после чудовищных обстоятельств вдовства, и – новый удар. Наверное ничего не удалось разузнать. Говорилось же им, что оформить гражданский брак стоит поторопиться сразу вслед за венчанием, промедлили. Из-за этого посылки не принимают, в справках отказывают. Может статься, насчет справок оно и к лучшему, если и этого зятя больше нет в числе живых. Второго смертного приговора Аня не выдержит. Всегда была такой ранимой, с острым восприятием всех мелочей жизни. Всегда была хрупкая. Лена в нее. Но слабее, вскормленная из рожка и, что по тем годам не редкость, – недоношенная...

Нож, разрезавший последнюю картофелину, стукнул по доске так, что осталась выбоинка. Вспомнилось некстати, какие слухи распускали относительно рождения Лены те, кого Николай Александрович называл «камарильей». Сколько вынесла Аня...

Сплетни продолжают изливаться, повторяются по десять раз, обрастают подробностями старые, измышляются новые... Будто бы, услышав предложение руки и сердца, Аня упала на колени и заявила, что «недостойна такого счастья».

Безумие какое-то, но ведь и этому верят. Имеет ли хоть малое представление эта богемная публика о том, какое поведение мыслимо для урожденной Энгельгардт, а какое невообразимо? А случись бы с Аней подобное неприличие, затмение, что ль, найди, стал бы Nicolas откровенничать с посторонними о жене? Бред.

Дураки или мерзавцы? Или попросту судят по себе, эти выскочки. Невоспитанные, расхлябанные, развязные. Естественный такт молодой женщины, молодой жены, старавшейся в обществе говорить поменьше и держаться в тени, трактовался как «этой кукле нечего сказать».

Кое-кто, очевидно, впрочем, не глуп.

Уметь надобно при живом муже поставить себя не только вдовой предыдущего, но и *единственной* существующей вдовой. Малороссия, прости господи. Особый менталитет.

Не больше пяти минут – только чтобы обжарилось до золотистой корочки. В Крым бы ее, этой былинке надобен не туманный Петербург, а солнце, тепло, запах нагретых водорослей и хризолитовая, чистая волна... Воротится жена, стоило бы обсудить. К чему нам последние эти вещицы «на чёрный день»? Куда уж черней, когда недоедает и не дышит свежим воздухом дитя? Два бронхита за год...

– Алё!! Алё... Танюша, ты, что ли? Чего давеча-то не зашла?

Резкий, крикливый голос, донесшийся из коридора, ударил по нервам. Соседка Анюта. Больше всего в этой дебелой сорокалетней бабище Энгельгардта спервоначалу раздражало совпадение ее имени с именем дочери. Впрочем, вскоре выяснилось, что (не по невежеству, но в пылу борьбы с «поповщиной») она и в документах записалась не Анной, но Анютой Власьевной.

Да ладно, что я как мальчишка. Велика важность, хоть бы и Анной звалась. Гюрзу вон тоже Анной зовут.

«Анна Первая».

«Проще разобраться, говоря «Анна Пожилая» и «Анна Молодая», – парировал как-то в уличном разговоре Энгельгардт, превосходно зная, что все будет передано по адресу.

Ах, невыносимо! Зачем эта баба орёт так, что телефон представляется вовсе лишним предметом?

– Ах, вона что... Да, дело серьезное. Может, ещё ошиблась? Ну, тогда конечно... Когда того, избавляться-то пойдешь? Танюх, да ты чё, сдурела?! Какое такое «подумаю»? Такое ярмо на шею вешать! Ты, девонька, даже думать не моги, а благодари родную советскую власть. А есть за что! Нашей сестре теперь – не жизнь, а сплошная са-ни-та-ри-я! И бесплатно, и безопасно, и все блестит, сиделочки в крахмальном бегают... Ты так не живала, как мы в твои

годы... Бывало как: сунешь луковицу-то куда следует – и ходишь не знаешь, сдохнешь-выживешь. Чего? ... Вот, аж не знаешь, зачем луковицу! Хорошо живете, нынешние... А то, что корни она пускает... Если сvezёт. Потом и дёрнула ее – вместе с пащенком. Чего ржешь-то, дурища? Нам не до смеху приходилось. Опасно это. Да еще сколько ходить-то с луковицей с этой... А супостат пристаёт, ты ему, больна, мол... И вправду больна делаешься... Запрещали, да. Супостату чего: знай плоды! Теперь свобода. Свобода да уважение к женским правам.

Несколько мгновений Энгельгардт не мог справиться с удущем. Отвращение оказалось уж слишком физическим, даже не моральным.

Нож упал на пол, обещая гостя.

Николай Александрович осторожно пытался выровнять дыхание. Нельзя, нельзя умирать, нельзя расслаблять нервов. Вот это мерзостное зверьё – в одном доме с моей женой, с Аней, с Галей, с Леной, с Леной...

Не в гнусностях ужас, ты не поймешь их по неведенью твоему, ужас в самом воздухе, которым ты дышишь...

Дитя под анчаром. Как тебя уберечь от ядовитых его миазмов? ...

Осторожно наклонившись, Николай Александрович поднял и положил в раковину нож. Услышанная мерзость словно бы состарила его на год разом. Нет, нельзя. Не дождетесь.

Картошка и готова меж тем. Кот, что ли, уволок прихватку? С разбойника станется.

Три звонка в дверь. Вроде бы никого мы не ждём. Прежде, чем пойти открывать, Николай Александрович перенес сковородку, прихваченную вместо пропавшей ухватки полотенцем, в комнату. Распорядился, чтобы Лена достала тарелки и приборы.

Гнусная баба, уже завершившая свою телефонную беседу, нарочно копошилась в темноте коридора. Подобным манером пролетарское население квартиры обыкновенно достигало двух целей: и демонстрировало, что пренебрегает открывать дверь на «чужие» звонки, и утоляло любопытство. Второе было много худшим злом.

Энгельгардт всегда держал эти обстоятельства в голове. Лица его соседке видно все одно не было, но голос при виде вошедшего прозвучал ровно и непринужденно:

– Ну, разутешил старого приятеля. Давненько не заглядывал к нам. Всё в трудах? Заходи, заходи, милости прошу, как раз с внучкой обедать садимся.

Проведя гостя в комнату, Энгельгардт с облегчением отметил, что соседка так и не подняла головы из своего сундука, выступая совсем иной частью – будто не рылась в рухляди, а пропалывала морковь на грядке.

– Господи помилуй! – воскликнул Энгельгардт, когда тяжелая дверь затворилась. – Андрей, ты ли это?!

– Так переменялся? – невесело усмехнулся гость.

– Не без того, что нам друг от друга скрывать подобные истины, чай не дамы. Ленюк, поставь еще прибор! Но не о том речь. Просто и не знали, как поминать-то тебя: за упокой или во здравие...

– И как поминали? – профессор лингвистики Сольнин осторожно опустил на предложенный жестом стул.

– Во здравие. И, благодарение Богу, видим если не здоровым, то живым. А ты узнаешь Андрей Ивановича, Лена?

– Здравствуйте. – Что-то поняв, девочка взглянула на гостя серьезно, без приличествующей улыбки. – Я вас не узнаю, но я вас помню. И у меня сохранились некоторые игрушки от вас. Те, в которые мне меньше нравилось играть.

– Я наделаю для вас новых. Или такой большой барышне уже игрушки не пристали?

Сольнин заметил, что девочка не садится за стол, а, стоя за спинкою стула, выжидательно поглядывает то на деда, то на икону. В этом доме еще не боялись молиться. Даже при

чужих. Конечно, не вполне чужих, друзей семьи, но жизнь являет уж слишком частые примеры обманутого доверия.

– Очи всех, Господи...

За обедом обменивались новостями несущественными: поездка Ани в Москву, здоровье Ларисы Михайловны, явился новый технический фокус – звуковое синема.

– Не удержался, сходил. Уж казалось бы – велика радость не только видеть просяного наркома, но и слышать – двойное мучение, по сути-то. А все ж занятно. Нарочно поглядел, нет, это не грампластинку запускали, всё по-честному.

– Как же они звук-то с изображением совмещают? – гость ел нарочито медленно, как едят все благовоспитанные люди, которым очень хочется торопливо жевать и глотать крупные куски. Люди, недавно голодавшие.

– Мы же гуманитарии, Андрей. Где нам понять? В техническом столетии мы скоро сделаемся бесполезным реликтом. Впрочем... Тебе не казалось иной раз, что ведь и вправду только бесполезное и отличает человека от скота?

– Теперь в моде говорить, что отличает добровольный труд.

– Все эти разночинцы мало живали на природе. – Энгельгардт потянулся к графину с водой: вина к столу, конечно, не было. – Понаблюдали бы разок за бобрами... Человека возвышает над животным уровнем только то, чего «не съесть, не выпить, не поцеловать».

Оба собеседника невольно столкнулись взглядами на золотой макушке сидевшего меж ними ребёнка.

– Ты можешь теперь идти к себе, Лена. – Энгельгардт, уже прочитавший благодарственную молитву, вддел салфетку в кольцо. – Нам с Андрей Ивановичем надобно о многом потолковать. Впрочем, прости, запямятовал. Без тебя заходила в час пополудни дама, я так понял, что бабушка кого-то из твоих одноклассников.

– Бабушка? Чья? – Лена как будто удивилась.

– Не знаю, она только назвалась самое. Тебе видней. Очень обязательная дама. Вот, записку тебе просила передать.

– А как ее зовут, дедушка? – Лена неуверенно приняла темный узкий конверт, надушенный пачули.

– Погоди... Наталья?... Нет... Надежда. Надежда Павловна Коханова.

Глава II. Из мест отдаленных

Когда Лена убежала гулять, получив строгое предписание воротиться к назначенному часу, Энгельгардт и его гость некоторое время медлили вступать в разговор. Иные разговоры тяжело начинать, нужды нет.

– Соловки, Андрей? – спросил Энгельгардт, ставя на стол чайник с «неродной» крышкой – черной, а не коричневой. Чайник диковато смотрелся рядом с маленьким заварочным мейсоном. Аристократ рядышком с пролетарием. Как и везде в нынешней нашей жизни. Веласкесу бы понравилось, ему, оттенявшему чары красавиц уродами и уродцами.

– В известном смысле да. СЛОН. Северные лагеря особого назначения, так это у них называется. Только Соловки, Nicolas, они большие. И кругов ада в них много больше семи. – Сольнин, прежде, чем сделать глоток, с наслаждением втянул пар. – Чай... Трудно воротиться к простым приметам цивилизованности.

– О, погоди. Совсем забыл, у нас же и сахар есть. Целых полголовы. – Энгельгардт оборотился к буфету. О том, что драгоценную полуголову в семье колют только для детей, он, разумеется, промолчал.

– Даже не сахарин? – восхитился гость. – Настоящий сахар, что в синей бумаге? Лукуллов пир.

– Того же, боюсь, пошиба, что в «Трех мушкетерах», – улынулся Энгельгардт. – У прокурорши Кокнар.

Приятели рассмеялись, как некогда, в студенческую общую бытность. Оба начинали свое время в Императорском Лесном институте, для Энгельгардта заведением почти домашнем. Оба предпочли затем естественным наукам словесность.

– Мне по ночам снится варево из мелкой рыбы с кусками гнилой картошки. – Смех гостя оборвался слишком резко. – Мне снятся запахи. Черемша, назойливая, едкая, которой на кухне забивали пустую воду. И сводящий с ума сытный дух гречневой каши – из открытого окна в столовой опричников. Ее даже больше хотелось, чем мяса. Впрочем, пустое. Худшего я избежал – не швырял бревен – по пояс в холодной воде, как один мой знакомец, подпоручик. У него был плеврит. Больничка, я после отдельно расскажу тебе о философии уничижительных суффиксов, отказалась ставить в диагнозе. Не знаю, долго ли он там продержится. Но есть несчастные, чья судьба много страшнее – и страшного этого рабского труда, и самой смерти, пожалуй.

– Расскажешь или предпочел бы этого не касаться?

– По чести сказать, я сам не знаю. У вас можно курить? – гость нерешительно полез в карман.

– В этой комнате да. По счастью, у нас две комнаты. Мы с женой тоже изредка балуемся. Так что можешь даже и угостить, если не последние. Помнишь, мы шутили: последнюю даже городской не возьмёт.

– Папирос у меня, по счастью, полон портсигар. Если это можно назвать портсигаром. – Сольнин повертел в руках убогую жестяную вещицу, словно лицезрел впервые. – Как быстро выветриваются эстетические потребности. Уже странно представить, что серебряный портсигар почитался дурным тоном.

– Пустое. – Энгельгардт с удовольствием принял предложенную папиросу, машинально огляделся в поисках свечи, и, рассмеявшись над собой, чиркнул спичкой. – На мой фамильный золотой семья месяц ела хорошее мясо. Зарботки ничтожно малы, но хорошо, коли есть. Боюсь, ты еще столкнешься с этим. В Питере все труднее: очень непросто попасть в этот треклятый профсоюз, а без членства в нем не берут на службу. Замкнутый круг. Ну да кривая вывезет и из замкнутого круга. Что мы, в самом деле, брюзжим как старики? Впрочем, мы ведь и есть старики. Только надобно к этому привыкнуть.

– Я уж давно кажусь себе не то что стариком, а вовсе мертвецом. Ты иное – в тебе еще много, как цыгане говорят, «злости жить».

– Приходится, я ведь заменяю двум детям отца. – Энгельгардт с удовольствием втянул дым. – Эвон, даже курить почти оставил. Мне б еще хоть с десятков лет протянуть. Аня моя, видишь ли, никогда не была зубаста. Ах, да: это уж без тебя было. Вторая внучка родилась. Аня замуж собралась, но... Сам догадаешься. Но, опять же, что о том. Ты, верно, еще не слышал. Из-за границ новости доходят куда медленней, чем в те поры, когда почту возили ямщики. Я сам недавно услышал: Петр Петрович уж больше года, как скончался.

– Его Сиятельство? Упокой, Господи. Там, в угорских пределах?

– Да.

– В наши дни это лучшее.

– В который раз досадую на то, как благодетельные меры могут ударить хвостом. – Прозвучавшее упоминание о Голицыне, верно, задело в душе Энгельгардта какую-то большую струну. Забыв о папиросе в стиснутых пальцах, он принялся ходить по тесной комнате. – Государь был многожды прав, запретив участие военных в политических партиях. Помнишь те дни, помнишь пятый год? Кровь, смута... Это только нынче кажется, что не кровь то была, а пустяк. Россия тогда только палец порезала, брызнуло несколько капель. Да, тысячу раз да! Армия растлевалась политикой! Принял погоны, служи! Служи и не рассуждай! Но какая ирония: под

запрет, несомненно благой, попало «Русское общество»! Помнишь, как оно за сутки истаяло на три четверти?! И мы ничего не могли сделать: закон един для всех – и для смутьянов и для верных!

– Да, ты вправду еще молод, Гард. – Прозвище, некогда бытовавшее среди буршей, а после сослужившее литературным псевдонимом, само слетело у Сольнина с языка. – Ты еще хранишь в душе времена, когда судьбами Отечества занимались нам подобные. Теперь судьбы эти в других руках. Совсем в других.

– Да знаю я, – Энгельгардт поморщился.

– Нет, ты не знаешь. – Лицо Сольнина потемнело. – Ты считаешь их недоучками-социал-утопистами, выплывшими на волнах народного бунта. Верней сказать – раскачавшими бунт на германские деньги. Все это, конечно, так. Это лишь часть правды о них. Видишь ли, есть вид безумия, из коего невозможно исключить одержимость. Ты ведь в это тоже веришь, не так ли? Вспомни наши разговоры в «Русском обществе»! Мы все этого не исключали. Но те наши разговоры были умозрительны. Я видел ад вблизи.

– На Соловках? – переспросил очевидное собеседник. Случается, когда задать неглупый вопрос непросто.

– Да, там. Хотя тени этого ада раскиданы по всей стране. Но на Соловках люди отданы в полную власть временщиков. – Видным было, что Сольнин, наконец, собрался с силами для нелегкой откровенности. Или – для решимости на нее. – Власть не советская, а соловецкая. Вы и здесь это присловье слышали. В действительности же там и сосредоточен истинный смысл нынешнего устройства. Я говорил об участии худшей, чем смерть. Это о тех несчастных, что поставлены подопытными животными в полное владение Глеба Бокия.

Прозвучавшее имя не удивило Энгельгардта. Слухи ходили давно, если из них правдива хотя бы половина – этот сословный ренегат выделялся даже среди прочих чекистов. Эдакий Флориан Геейр купчинского разлива. Кто выше стоял, тот ниже падает, не нами подмечено. Зло всегда в какой-то мере смехотворно, чем оно чудовищнее, тем смешнее. И чем смешнее, тем больше шевелятся волосы на голове, когда наблюдаешь его, даже на расстоянии. На даче в Купчине видный чекист устроил «коммуну», которой тешился после поездок на Соловки. Членами состояли сослуживцы, искавшие благосклонности начальства. С жалованья каждый платил членский взнос – десятую часть. Этакая антицерковная десятина. Не исключено, что впрямь не без намека: ему подобным разврат не в разврат без кощунств. Деньги Бокий тратит остервенело, самозабвенно. Ему, как опять же если верить молве, всегда их недостает. В Купчине пьют отнюдь не вина, но ворованный на службе же технический спирт. Свины и есть. Для себя, надо полагать, у Бокия в заводе что получше, но к чему поить хорошим вином всех этих своих Эйхмансов, дикарски не ведающих, что такое послевкусие и диск? Ох и мерзкие слухи ходят вокруг этих оргий...

– Они занимаются вивисекцией?

– Не только. Но и этим, похоже. Впрочем, те, кто попал в их «особую зону», подробностей уже не расскажут. Но ты не подумай, – Сольнин коротко, горько рассмеялся, – что в не столь ужасных местах временщики не властны над людьми полностью. Властны, конечно. Это повсеместно. Особенно страшно, когда дело касается женщин. На Соловках видели, как женился Эйхманс. Есть такой, подручный Бокия.

– Я слышал, – хмуро кивнул Энгельгардт. – Он тоже часто бывает в столицах.

– Так вот... Печальная история. Имя бедняжки неизвестно, но за достоверность поручусь. Увидел в партии вновь прибывших девушку и отца. Поставил выбор: пойдешь за меня, пощажу отца. Не пойдешь – расстреляю. И ведь то и другое было вправду в его власти. Царек и божок. Но представь себе терзания девушки! Спасти отца – и возлечь с палачом, с плебеем, харкающим на пол! С латышом, каких твои предки не пускали на порог кухни, Гард! Или спасти свою честь – впрочем, надолго ли?

– Да, как доходит до брачных уз, им своих пролетарок отчего-то не хочется. – Энгельгардт усмехнулся такой же невеселой усмешкой. – Девушки жаль, хотя один кат это все ж лучшая, вероятно, участь, чем быть поруганной полусотней накокаиненных матросов, которые еще и растерзают живьем после. Можно пожелать ей, несчастной, только одного: бездетности. Помнишь: «дети, рожденные от таких браков, должны бы от ужаса умирать в утробе». Ладно, что о том. Как тебе представляется, Андрей, эти новые лолларды от тебя в самом деле отцепились?

– Хотел бы надеяться, но не уверен. – В лице Сольнина еще резче проступили без того глубокие морщины. – Кто один раз попал в их руки, тот – с чёрной меткой. Не хочу об этом думать. Нашел на квартире работку по фонетике нескольких африканских языков, сохранилась. Как раз перед арестом начинал писать. Хочу завершить, нужды нет, коли и не удастся опубликовать.

– Едва ли удастся... Но, надо тебе сказать, переводами можно немного зарабатывать и без профсоюза. Благодарение невежеству хозяев нового мира. Мне много чаще переппадают технические. Скучновато, но какой-то кусок хлеба. Литературные также иной раз, хотя и реже. Только издаются, вот уж удивительно, не под моим именем. Оно и к лучшему, впрочем. Вообрази только курьез: издательством «Academia» заправляет нарком Каменев. – Энгельгардт нахмурился. – Бьет шесть. Где же Лена? Ей уж полчаса, как надлежит быть дома.

– Об этом я еще расспрошу тебя особо, Гард. – Сольнин вздохнул. – Хочешь не хочешь, а покуда тело живо, приходится думать о брэнном пропитании.

– Поверь, оно и к лучшему. Помогает не распустить себя, не опустить рук, наблюдая, что творится вокруг. Я тебя кое с кем сведу. Лена, тебе ведь, я полагаю, известно, когда ты должна была вернуться?

– Извини, дедушка. – Не очень улыбчивая девочка на сей раз улыбалась: улыбкой легкой и мимолетной, как мотылек. Чуть косящий левый глаз ее неожиданно придал личику задорное выражение.

– Ну что ты там делала? Играла с неумными этими девчонками? – Энгельгардт чуть смягчился.

– Нет, я не играла. – Улыбка так и скользила по влажным, бледно-розовым губам. – Я просто каталась на трамвае.

Глава III. Июньский май

Каникулы пришли раньше лета – на целых две недели. И начались, самым странным образом, прямо посреди урока геометрии.

Геометрия, в отличие от алгебры, Лене нравилась. Даже и невзирая на то, что Розалия Ефимовна, руководительница пятого «А», вела уроки с куда меньшим энтузиазмом, нежели «классные часы». Но скучная серая обложка затрепанного Киселёва сулила рассказы куда интереснее объяснений Розалии Ефимовны.

– Итак, ребята, – слова «дети» Розалия Ефимовна отчего-то избегала. – Что мы проходили на прошлом уроке? У кого тут хорошая память? Кое-кому, похоже, придется ею хорошенько пошевелить. Да, Лурье?

– Биссектрису, Розалия Ефимовна! – бойко отчеканила выскочившая, как чертик из шкапулочки, Клара. Крышка парты громко стукнула.

– Хорошо. Сядь, Лурье. – Классная вернулась к своему столу и занесла ручку над страницей журнала. Сухую ручку, еще не успевшую заглянуть в чернильницу, хищно поблескивающую раздвоенным металлом пера – как жалом. – Ну, кто у нас тут хочет подтянуться? Подумаем, подумаем...

Клара села, даже по затылку видно, что недовольная. Хотела к доске, да не сложилось. Лена и Люся, сидевшие за нею, на третьей парте в ряду у окна, переглянулись: подлизывается.

Митя Журов легонько толкнул Лену сзади в плечо. Оказалась – записка.
«Биссектриса это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам».

Под стишком пристроилась комичная зверушка геометрического облика. Рисовал Митя неплохо.

Фыркнув, Лена тихонько, под крышками, развернула записку Люсе.

– Что-то Гумилевой сегодня весело, – хмыкнула учительница. – Может быть, она хочет нам рассказать у доски, что это ее так позабавило?

Лена пожала плечиками. К неприязни этой грузноватой, с резкими чертами лица женщины, всегда красившей губы и ногти ярко-красным, она успела привыкнуть. И она уже не маленькая. Есть вещи пострашнее противных учителей. Тем паче – они почти все противные.

– Гумилева, так не отвечают! Встань и ответь как положено!

Лена медленно поднялась, очень аккуратно положив крышку парты.

– Я знаю урок и могу ответить.

– Посмотрели бы мы, что ты знаешь. Только есть задолженники посильнее тебя. А четверть кончается. Сядь, Гумилева.

«Я и вовсе не задолженница, – подумала Лена, с трудом удержавшись, чтобы не передернуть плечами вновь. – У меня пятерка по контрольной работе».

Класс тревожно замер – перо вновь зависло над журналом.

Лена между тем, лизнув огрызок химического карандаша, принялась выводить на обороте Митиной записки.

«Обижает биссектрису?!
Ох, не там ты ищешь крысу!
Чтит Евклида биссектриса.
Крыса в школе – директриса!»

Повернулась назад не таясь – глаза Розалии слишком заняты выбором жертвы. Но Митя, прочтя записку, не развеселился, а глянул на Лену довольно хмуро. Затем принялся бумажку демонстративно рвать: пополам, на четвертушки, ну и далее. Все ясно: опять скажет на перемене, что Лена «дразнит гусей» и «что было бы, перехвати Розалиха». Вечно он большого из себя строит, а старше-то на два месяца.

Лена, впрочем, не обиделась: Митина строгость была, скорее, уютна, как уютно всякое проявление сердитой мужской заботы. Знала она также, что в случае чего Митя сказал бы, что директрису приплет он.

Нельзя сказать, что класс строго делился на детей в красных галстуках и детей, что приходили без них. Дружила же Лена с Люсей, хотя, похоже, начавшаяся в младших классах дружба в последние месяцы пошла мелкими трещинками. Как фарфор, в который еще можно наливать чай, но каждый раз понимаешь – чашка вот-вот треснет совсем – и тогда тебя ошпарит. Но некую тайную поддержку в друг в друге дети «лишенцы» все же ощущали, скорее бессознательно.

Митя в классе был на виду и нравился всем девочкам, Лене в их числе. Хотя и не сказать, что красивый мальчик. Портили его гадкие очки в тяжелой роговой оправе. Да и светлые волосы были какого-то серого оттенка, прямые, не очень успешно ложившиеся на косой пробор. А вот играть все хотели с Митей, дружить с Митей, озорничать тем более. Незаметное его покровительство частенько сглаживало отношения иногда вспыльчивой, иногда надменной, иногда язвительной Лены с остальным классом.

– Вот Ключенко и пойдет к доске! – в голосе Розалии Ефимовны прозвучало торжествующее ехидство. – Ты, конечно, хорошо подготовился, Витя. Мы с ребятами совершенно в этом

уверены. Поделись своими прекрасными познаниями. Давай-давай, поживей, плетёшься, как старый дедушка!

Двоечнику Ключенку, неуклюжему и рыхловатому мальчику, похоже, светили несколько минут издевательств. Впрочем, особого сочувствия он не вызывал даже у самого себя. Насмешки обычно летели мимо его ушей, какие почему-то принято сравнивать с лопухами, а из глаз не исчезало отсутствующе-сонное выражение.

Лена утратила интерес к происходящему. В кармане жакетки как обычно пряталось маленькое, мамино, зеркальце. Если тихонечко погонять зайчиков, никто не заметит.

Зайчик скользнул по потеку на потолке, старому, чуть напоминающему карту Италии. В Италию захотел, зайка? Ну, скажи!

– Не «гепафинуса», а гипотенуза, Ключенко! – разорялась между тем Розалия Ефимовна. – На производстве такое бы назвали саботажем, это твое отношение к учебному процессу! Вот придешь ты, допустим, работать на завод... И что, когда тебе доверят станок, а может быть и несколько станков, как...

Розалия Ефимовна вдруг завизжала, громко и страшно, словно на ее стол выскочила та самая крыса. Лена бы так не испугалась и крысы, хотя крысиные лысые хвосты, похожие на огромных дождевых червей, были отвратительны.

Но никакой крысы перед Розалией Ефимовной не было, ни на столе, ни на полу, ни под старой черной, в разводах мела, доской между нею и Ключенком, по обыкновению своему одетым в мятую и несвежую толстовку, коротко стриженным и с непременною болячкой на физиономии.

От визга классной руководительницы даже Ключенко «проснулся» и испуганно вытаращил на нее глаза.

– Что... Что у тебя... Я спрашиваю?! – Розалия Ефимовна, перестав наконец визжать, ткнула в ученика рукой. Все пять кроваво-красных ногтей на этой руке ходили ходуном.

– Я... Я чего, Розалья Ефимна... Я ничего... – Ключенко, растерянный и напуганный, привычным жестом потянулся почесать довольно противную болячку на подбородке.

– Не трогать!! – вновь взвизгнула учительница. – А потом... этими руками... Ты в столовой из стаканов – пил?! Ну, говори, пил из стаканов?

Оторопевший Ключенко молчал. В классе переглядывались. Детям, было развеселившимся, что классная визжит, делалось все больше не по себе.

– Все – по домам! Занятия сегодня окончены! И скажите родителям – завтра в школе санитарный день! Занятий не будет, не приходите!

Загрохотали крышки, но без обычного веселого гомона. Лена принялась затягивать книжки и тетрадки в свои ремешки. Люся, нагнувшись, искала под партой оброненный носовой платок, верней не платок, а скрученного из него человечка.

– А ты... Ты это куда... Ключенко? – Учительница больше боялась, чем злилась. Крупные капли пота выступили у нее на крыльях носа. – Ты-то куда наладился? Стой здесь! С места не сходи, ясно тебе?! И ничего не трогай! Бибилова, собирай свои книжки! Что значит – дежурная? Оставь чернилницы в покое! Домой! Ах, ты, что ж теперь... К директору... Столовую... Да что ж такое... что ж такое... Это ж ни в одни тухес не лезет! Зачем мне такой гембель? ... Шанкр... Настоящий...

Розалия Ефимовна первой выскочила в дверь – каблучки ее отчаянно зацокали по коридору.

Незадачливый Ключенко топтался у доски, только разводя руками в ответ на вопросительные взгляды: не знаю, чего такого натворил.

Тихие и непонятно чем напуганные, школьники вышли из класса – в самом начале урока, в пустой рекреационный коридор. За другими дверьми равномерно гудели голоса. Все было таким странным и неприятным, что Митя даже вежливо вернулся за забытой Кларой в парту

нотной тетрадкой. Хотя всегдашним его обыкновением было Кларино существование не замечать.

Только на Кировной улице, весело звеневшей майским полуднем, детям сделалось легче.

* * *

– Завтра ты тоже не пойдешь в школу, – жестко уронил дедушка, воротившийся из упомянутого учебного заведения сам, на следующий день.

– Но завтра же занятия.

– Неважно. У тебя уже начались каникулы. Пусть выводят тебе оценки по итогам четверти, я с ними поговорю. А там будет видно. К осени.

– Дедушка, но что случилось?

– Бывают случаи, когда детям не надобно ничего спрашивать у взрослых, Ленок. – Энгельгардт тяжело опустился на стул. Он казался усталым, бесконечно усталым. – Надлежит просто слушаться тех, кто их любит и знает, как для них будет лучше.

Пришлось остаться дома. Проспать до одиннадцатого часа полуночи показалось, конечно, приятным. Приятным было и понежиться, никуда не торопясь, в постели, глядя, как солнечные лучи, струясь сквозь три выстроившихся полукругом окна, скользят по комнате, такой непохожей на комнату дедушки с бабушкой. В комнате стояло маленькое розового дерева фортепьяно – и всюду, как на поле странного сражения, валялись, раскинув руки и ноги во все стороны, большие куклы.

Но с этими куклами у Лены отношений не складывалось – в них играла мама, в их, кукольных, интересах отбившая на днях в Москву. Куклы для наконец-то открывшегося этой весной «мамино» театра. Они, конечно, красивы. Но Лена, как почти все девочки на пороге подросткового возраста, хотя и поигрывала тайком в игрушки, но – в маленькие, какие легко спрятать в карман: в целлулоидного «пупсика», фарфоровую собачку, нескольких солдатиков. Самые же лучшие игрушки – пусть самодельные, но вовсе маленькие, для которых можно соорудить домик в коробочке из-под духов. Помимо величины, мамины куклы были уж слишком откровенны. Этот Аладдин – он может быть только Аладдином, а Синдбадом быть не может. Злой волшебник не превратится в доброго шаха. Нет, кукольный театр это для маленьких детей. Не для Лены.

Лена соскочила, наконец, со своей узкой раскладной кровати. Прошла босиком по выложенным ёлочкой скрипучим старым паркетинам, отворила окно: Эртелев переулок тоже, казалось, дремал. Совсем никого – разве что точильщик на противоположном тротуаре, поближе к перекрестку, снимал с плеча и устанавливал свой станок, разговаривая со старушкой, вышедшей налегке, с колючим ворохом ножей в руках.

Вдруг захотелось в школу. В гадкую надоевшую школу с противными учителями. Позавчера она так и не успела поменяться с Татой Петровой старыми картинками из Эйнемской конфетной серии про XX век. У Лены имелось две одинаковых – с господами и дамами, летящими в ресторане, подвешенном к большому дирижаблю. Зато недоставало зимней Красной площади с аэросанями. Теперь таких хороших картинок не печатают. Надобно было сразу меняться. Ну-ка до осени Тата успеет потерять свой дубликат? А Митя обещал принести книжку Френсис Бернет про мальчика – тайного принца. Который как все дети ходит в школу и даже не подозревает, что его папа – король в изгнании. И о себе не знает до поры, что он принц. Старая книжка, конечно, новых книг Бернет не бывает. Вне сомнения, книжка эта со старыми буквами, но читать их Лене нравится.

Одним словом, школа, как всегда все запретное, вдруг, словно жестянка с монпансье, начала переливаться всяческими соблазнительными возможностями. И хорошо бы понять все же, в чем было дело? Может статься, другие ученики сегодня уже узнали?

– Проходите, Марта Генриховна, – донесся из коридора голос деда. – Вот сюда, прошу. Ох! Заведующая учебной частью! А она между тем не умыта и не одета в половине одиннадцатого! В ванную уже не проскочить, это мимо дедушкиной двери, но хоть бы одеться поскорей!

Один чулок так и остался с вечера прицеплен к лифчику, но где же другой? Вот он, почему-то на кукле – Царевне Будур. Искать свежих чулок некогда. А где блузка?

Лене сделалось неприятно и тревожно. Теперь ей больше не хотелось в школу. Ей хотелось, чтобы Марта Генриховна поскорее ушла.

* * *

– Я знаю, Николай Александрович, почему вы не отпустили Елену сегодня в школу, – устало произнесла заведующая, опускаясь в предложенные кресла. Вид этой немолодой дамы в твидовом костюме цвета «лондонского дыма», по крайности не раздражал зрительного нерва. Педагог старой формации, с прямой спиной, в перчатках. На собранных в узел полуседых волосах не шляпка, но неуловимо напоминающий шляпку черненький берет. – Не знаю, но, во всяком случае, догадываюсь. Не хотелось бы услышать выдумок, будто ученица больна.

– Моя внучка здорова, сударыня, – нажимом ответил Энгельгардт. – И ее здоровье для меня драгоценно. В школу девочка пойдет к началу учебного года. И то только в том случае, если этого... создания не будет к осени в классе. В противном случае мы переведем ее в другую школу. И уж я сумею обосновать необходимость подобного перевода, поверьте. Не думаю, что школа в сем заинтересована.

– Не нападайте, Николай Александрович. Конечно, мы не хотели бы шума. Само собой разумеется, что ученика отправили на медицинское обследование. В школу он вернется только после лечения. Как раз лето. Приборы в столовой и гигиенические помещения вчера дезинфицировали. Так что в школе сейчас все в полном порядке. Зачем подобная демонстративность? Ведь ребенок не виноват... Поймите... – В голосе проскользнули доверительные интонации. – Тут трагедия семьи. Мать, бедняжка... Была так молода, увлеченная, убежденная. Была помощницей Александры Михайловны Коллонтай. Сейчас от этого отходят, но тогда было веяние. Все эти теории «стакана воды».

– Парады голых баб, – Энгельгардт сощурился. – И вы меня хотите уверить, что ребенок не виноват? Кто, кроме детей, в ответе за грехи родительские?

– Грехи... Сейчас этого понятия нет. – Заведующая как-то криво усмехнулась.

– Для кого как.

– Вы верующий, Николай Александрович? – Взгляд пожилой женщины скользнул по иконе Богоматери Умягчения Злых Сердец. – Сейчас не модно в таком признаваться.

– Полноте. Прихожане каждой церкви наперечет. Кому надобно, тот вполне осведомлен о моих религиозных обстоятельствах, уверяю вас. Мне скрывать нечего, ибо в том нет смысла.

– Я сказала бы вам, что посещение членами семьи церкви может обернуться для девочки худшей опасностью, нежели достаточно слабая опасность заразы. Но вы, я подозреваю, сами отдаете себе отчет.

– Зато в церкви дитя не услышит о постыдных вещах. – Энгельгардт был, казалось, настроен по-прежнему грозно. – Ваша коллега повела себя непрофессионально. Какая гадость – паниковать, не держать себя в руках! Вы задумались над тем, сколько толков и предположений после этого возникло в классе? И ведь всегда находится хоть один порченный, который рад остальным объяснить, что случилось. Уверяю вас, дети только о том и говорят сейчас. И вы полагаете, что в подобную атмосферу я пушу свою внучку? Нет уж, пусть за лето все об этом инциденте забудут. И необходимо, чтобы о нем ничего не напоминало. Никто не напоминал. Если понадобится, мы объединим усилия с другими родителями.

– Вы так уверены в своих силах, Николай Александрович? – Понуждаемая какой-то своей необходимостью, учительница перешла в атаку.

– Чтобы защитить внучку, их достанет.

– Ой ли? – Всё неуловимо дамское в облике Марты Генриховны вдруг словно стерло тряпкой – той, в мутном мелу, которой протирают школьную же доску. Подбородок сделался каменным, а берет вдруг перестал напоминать шляпку. – Вы ведь лишенец, аристократ, вы и в городе-то чудом живете, под Дамокловым мечом высылки. Ваша дочь – вдова... сами лучше меня знаете, чья она вдова. Подобные дела никогда не закрывают до конца. Неужто будет лучше для вашей Елены оказаться в детском доме? Вы слышали про систему Макаренка? Для вашей ли это девочки? Не лучше ли... не благоразумнее ли быть незаметней?

– Точки над «i» по крайности расставлены. – Энгельгардт поднялся, вдруг сделавшись моложе. – Всегда хотел знать, как вы, учителя, теперь объясняете детям эту поговорку? Превративши добрую русскую букву в иностранку?

– ... Что?! – Марта Генриховна сбилась.

– Так, пустое. – Энгельгардт рассмеялся. – Да, я аристократ, замечено со всей справедливостью. И, хотя поприщем своим я избрал стезю вполне мирную, в моей крови – десятки поколений воинов. Десятки. Положив руку на свою же артерию, я слушаю рассказы о взятии Иерусалима. И весь боевой опыт моих предков учит: не уступать. Никогда. Ни пяди. А там – будь, что будет. А гибнешь, так побольше прихвати на тот свет. Благодаря этой немудреной концепции бытия мы обыкновенно и побеждали. Авось Господь и на сей раз не оставит своих.

Лицо заведующей учебной частью медленно серело. Если б это видела Лена, она подумала бы, что словно «переводная» картинка вдруг начала мутнеть обратно. Но деду подобного образа в голову, конечно, не пришло.

– Вы... вы... – Пальцы заведующей впились в украшавшую лацкан камею.

– Николай Александрович!! – стук в дверь и молодой голос услышала из своей комнаты и Лена. – Наидрагоценнейший Николай Александрович! Дозволено ли будет войти?

– Входите, Юрий Сергеевич, – безмятежно отозвался Энгельгардт.

...Юрий Сергеевич Задонский, студент из соседней квартиры, из девятой. Когда Лена была помладше, добровольно брал на себя роль «лошадки», и получалось у них недурно. Лена, понятное дело, была уланом. Замечательная «боевая шашка» тоже исходила от Юрия Сергеевича – его детская. Сколько своих былых игрушек, даже калейдоскоп, он предоставил в Ленино владение!

Но отчего Задонский, впрочем, и обыкновенно веселый, так весел теперь, для Лены осталось неясным: дверь затворилась.

– Простите, я некстати? – молодой человек коснулся ладонью лица, словно пытаясь стереть ликующую улыбку.

– Нимало, даже и кстати. Ваше мнение, мнение биолога, весьма ценно для нашей беседы. По школе на Кировной, изволите видеть, разгуливает бледная трепонема. Между тем достойная Марта Генриховна, заведующая учебной частью школы, полагает, что это не чрезмерно опасно для учащихся, и рекомендует мне отпустить в школу внучку.

– В Леночкиной школе? Люэс? – Задонский подобрался. Вдруг сделалось отчего-то заметно, что молодой человек не только хорошо сложен, но и отлично гимнастически тренирован. Под аккуратно выглаженной белой сорочкой (он зашел запросто, в жилетке) заиграли мускулы. – Вот так так... В старших классах, как я понимаю?

– В средних. Врожденный.

Двое мужчин, юный и пожилой, перекидывались репликами над поникшей береткой педагога, будто теннисными мячами.

– Мой... Директор моего института... Как раз собрался в Москву... – Лицо Задонского приняло зловеще суровое выражение.

– Наилучше. Такие вот дела, извольте видеть, творятся в наших городских школах. Вы ведь еще увидите... с патроном? До его отъезда?

– Перестаньте! – Заведующая резко вскочила. – Хорошо, пусть ваша Елена сидит дома до сентября, раз вы ради нее способны всю школу взорвать...

– Вы только сейчас это поняли?

Своего рода шлейфом стремглав выбежавшей заведующей в воздухе отчего-то на несколько мгновений повис легкий запах нафталина. Вероятно, она заботливо перекладывает им одежду на ночь.

– Отбились. – Энгельгардт улыбался. – Благодарю, из вас вышел превосходный засадный полк. Но позвольте, Юрий Сергеевич... Какой институт, какой директор? Еще давеча был не директор, но ректор, и не институт, но университет.

– Николай Александрович! – Улыбка Задонского, было согнанная, с торжеством воротилась на прежние позиции. – Я ведь за вами шел... Благоволите посетить ненадолго мою холостяцкую берлогу... Я умру, если не изолью своих новостей.

– Умрете безусловно, лет через шестьдесят. Но да не проведете их в печали. – Энгельгардт отечески обнял молодого человека за плечи. – Ведите, ведите в свою берлогу, да еще холостяцкую.

* * *

Поняв по шуму из коридора, что угроза миновала, Лена одеваться передумала. Горделиво швырнула лифчик с уже обоими чулками на пол и забралась обратно в постель, к выглядывающей из-под подушки книге. Каникулы так каникулы!

Книга попалась уж очень интересная, хотя и жутковатая немного. В ней рассказывалось о семье художника, переживающей осаду Парижа. Осаду пруссаками, это не тараканы, это немцы, а запомнить легко.

У художника, доброго и не очень талантливого, снимавшего маленькую студию на лестницах Монмартра (это улицы, но дедушка говорит, что улочки на Монмартре правильнее считать просто лестницами), по словам автора, имелось двое сыновей – Жан и Ришар. Ришар был ровесником Лены. Не очень интересно читать книги, где действуют одни взрослые. А так приятно.

Вчера, вместе с Жаном и Ришаром, Лена успела увидеть, как парижане вырубают белоствольные платаны на бульварах, развесистые каштаны в Тюильри... Голый город, город без деревьев, как картина без рамы. Но топить больше нечем. Дым от сырых дров зол и едок.

Но все одно тянутся к огню руки. В каждом доме – жадно тянутся к огню иззябшие маленькие ручонки детей, с ямочками вместо костяшек, хрупкие старческие кисти, осыпанные «цветами смерти». Идет дым от подметок, слишком крепко упершихся в каминную решетку, но зато согреваются ноги... Люди знают, что блаженного тепла может не достать до конца зимы.

Что сгорело в ненасытных каминах прежде, чем нужда выгнала на бульвары с топором? Лишняя мебель... Корзины, корзинки, разделочные доски, скалки... Игрушки: всякие там лошадки, чурочки... Все равно они не нужны дитяти, спрятавшемуся в кровати под грудой одеял и одежды... Письма: когда-то драгоценные, перетянутые лентами связки писем... Книжки?

Как же ужасно – жечь книги!

Лена отложила свою, не сожженную, но целую невредимую.

Старшие говорили о лютых революционных годах, что в холоде бывает много голоднее, чем в летнюю пору. Так и кажется, что немного поесть – и согреешься. А есть парижанам было нечего.

В городе съели собак и кошек... Лену передернуло. Как же надо оголодать, чтобы убить кошку?

Лена вздохнула и вновь погрузилась в чтение, готовая расплакаться вместе с Ришаром: в зоологическом саду съели двух слонов.

Мяснику трудно убить слона. Как слепо метался по загону огромный зверь, неумело раненный топором! А звали слона Сизиф.

Вчера Лена и вправду над этим так расплакалась, что самой сделалось страшно.

Дедушка сказал тогда: «Осады городов остались в прошлом. Из чего ты так испугалась? В нашем веке такого не случится никогда, почитай о чем повеселей, Ленок».

Конечно, не случится, а все ж не по себе...

Останутся ли живы Жан и Ришар и их смешной папа Жюль?

Глава IV. Покровительство гения

– Ба! По какому это случаю коньяк и яства от Норда?

Накрыто было старательно, но трогательно, по-мужски неумело. Задонский жил уж третий год один, потеряв мать в эпидемию инфлюэнцы. Еще одна трагическая судьба. Вдовствуя, поднимать сына, в постоянном страхе, что обстоятельства гибели мужа скрыты не слишком-то надежно. Но механизм террора подразумевает непредсказуемость. Ольга Дмитриевна, по крайности, скончалась в родном городе, в относительном спокойствии за судьбу сына. Задонским посчастливилось. Как и, что вовсе из разряда чудес, посчастливилось покуда Энгельгардтам.

Юрию в последний год жилось полегче: теперь он сочетал обучение с должностью младшего лаборанта на кафедре, где и писал диплом. Это избавило молодого человека от тяжелых ночных подработок в типографии, после которых он частенько клевал носом на лекциях.

– По самому лучшему случаю на свете, Николай Александрович! Позвольте за вами поухаживать немного. Я, признаться, не слишком разбираюсь в коньяках, но говорили...

– Да погодите вы с коньяком! Ну, хорошо, лейте и повествуйте. Кажется, я догадался отчасти. Вы определились со службой.

– Нет... То есть да, но слова ничего не вместят... – Задонский отхлебнул из рюмки, скривился и торопливо откусил лимона, что не вполне помогло. – Николай Александрович! Я буду служить в ВИРе.

– А нельзя ли без аббревиатур? Скверная привычка, потом не отстанет.

– Простите, я сегодня безумен. Разве что давешняя мегера, что у вас сидела, меня капельку заземлила. Институт Растениеводства. Всесоюзный. Но *мы*, – при этом слове лицо Задонского как-то торжественно просияло, – меж собой говорим попросту Вавиловский.

– Вот оно что, – Энгельгардт улыбнулся, согревая стекло в ладонях. – Вы, стало быть, начинаете свое поприще в институте вашего кумира.

– Не просто в его институте! – Задонский опрокинул рюмку, словно пил водку. Отсутствие опыта, каковое, впрочем, исправляется весьма скоро. – У самого Николай Ивановича. Я как раз сегодня от него.

– Вот оно как. – Энгельгардт с удовольствием смотрел в воодушевленное лицо вчерашнего студента. Молодость неизбежно творит кумиров. Но этот, по крайности, выбрал на сию роль достойного. – Легендарный Вавилов, что питался неделю одними акридами, но добрался до афганской глуши, куда ранее не ступала нога европейца?

– Не смейтесь, я счастлив сегодня.

– Я не смеюсь, Юрий Сергеевич, я сорадауюсь. Ну, рассказывайте, рассказывайте. И сами ешьте эти буше, это в ваши годы на сладкое тянет всерьез. Итак, Вавилов предложил поступить под его руководство?

– Не совсем так... – Задонский, еще полный доверху впечатлениями, все не мог оторваться мыслями от встречи с академиком. – Николай Иванович мне предложил выбор: либо заниматься пшеницей у него, либо попробовать один метод... Новый метод... Есть такой самоучка, но, говорят, талантливый. Некто Лысенко. Он тут надумал искусственно яровизировать сорта. Если получится у него – может выйти прелюбопытно. Николай Иванович хочет дать ему шанс...

– Разве вы не любите рисковать? – дружелюбно поддел Энгельгардт.

– Нет, я не из осторожности... Две причины, но обе глупые.

– Валяйте, делитесь со стариком... Всё одно спишу на вашу молодость любую глупость.

– Мне... – Задонский замялся. – Мне неприятен Лысенко. Манера говорить... Такой простой, якобы грубый, но сладкий, будто леденцов переел. Самых ядовитых, знаете, на палочке. И будто эти леденцы из него так и точатся – дотронешься, а он липкий. Но это же впрямь ребяческие эмоции.

– Когда как. – Энгельгардт даже не улыбнулся. – А вторая причина?

– Она еще глупей. Мне, дураку, кажется почему-то, что ничего с этой яровизацией не выйдет. Вавилов разрешает попробовать, а я, видите ли, сомневаюсь. Даже уверен – пустое это.

– Э, Юрий Сергеевич... Придет время, увидите, даже великие из великих иной раз ошибаются. И их величия это отнюдь не умаляет. Но вы ведь, я чаю, доверились себе?

– Да.

Задонский, с рюмкой невкусного коньяку, мало еще чем отличного для него от невкусной водки, но зато позволяющей в полной мере ощутить серьезность перемены в судьбе, прошелся по комнате. Через растворенные окна доносились со двора крики играющих детей.

Энгельгардт неожиданно прислушался.

– Как это все же скорбно... Простите, я о своем, о филологии... Слышите, что кричат детишки?

– В прятки, верно, играют... Или в салки... Считаются. – Задонский невольно прислушался следом.

– Не годится! Заново! – звонко захлебывался голосок внизу:

Эни-бени-рики-факи,
Турбо-урбо-сентябряки,
Дэо-дэо-краснодэо
Бац!

– Готы на развалинах Рима. В более, пожалуй, прямом смысле, чем иной раз кажется. – Энгельгардт горько усмехнулся. – Разгадайте шараду, Юрий Сергеевич. Вы ведь успели поучиться в гимназии.

– Гмм... Кажется, обычная детская абракадабра...

– Повторите медленно... Проступит. Особенно во второй части.

– Део... део... краснодео... да еще и бац... Бац – имеет значение?

– Да.

– Део део краснодео... – Задонский присвистнул. – Поймал! Deus, deus, crassus deus, Bacchus! Так? Я не помню, признаться, всего стишка.

– Aeneas bene rem publicam facit
In turba urbem sene Tiberi jacit, —

отчетливо продекламировал Энгельгардт.

Deus, deus, crassus deus,
Bacchus!²

Задонский решительным жестом закрыл окно.

– Вавилов... Вавилов рассказывал. Ему встречались в глуши дикари, бормочущие «священные» тексты по неграмотности наизусть, и притом – на непонятном для них языке... Как их там, муллы, что ли.

– Что естественно для внеисторических пределов, страшно в центре цивилизации. Но простите мне старческое уныние. Вы опять о своем Вавилове, и вы правы.

– Я ведь тоже обо всем происходящем думаю, Николай Александрович. – Теперь Задонский не улыбался. – Я потому и рад, что пошел в естественные науки. Их-то ничто не затронет, при любых властях... Тут можно себя найти. И души своей не погубить. Николай Александрович, я только вам могу сказать, что чувствую, до конца. Вы не сочтете это бредом. Вы человек верующий. Но не хочу казаться в ваших глазах лучше, чем есть. Я не знаю, что у меня с Богом. Я еще не очень в этом разобрался. В конце концов, мне только двадцать два года летом исполняется, ведь есть еще время для таких сложных вопросов, не правда ли? Мама веровала, очень... А я, я куда не знаю себя. Но одно я для себя уже понял. Я свою святыню нашел. Вся наша цивилизация, христианская, земледельческая, она на хлебе стоит. Хлеб – залог созидания, залог жизни. Не зря же хлеб – Тело Христово. Идея воплощается в самом святом, что есть на земле. Я хочу заниматься пшеницей. Это моя святыня. Пшеница. Я в самом деле счастлив. Я уже сопричен к делу, прежде неслыханному. Подумать только, Николай Александрович! Ведь дух захватывает. Впервые за все времена брезжит возможность навсегда отворотить от человечества страшную язву голода! Ради этого пополняется коллекция Вавилова, ради этого все его исследования! И если все сбудется, из рук русского ученого человечество примет свой хлеб... Разве это не прекрасно? Ну вот, развел же я пафосу. Больше никогда в жизни ничего подобного не скажу. А сейчас съем эклер. Вот этот, шоколадный.

Энгельгардт с трудом подавлял волнение. Но как же легко дышится с молодыми, которых заботы житейские не пригнули еще к земле!

– Я сейчас ворочусь.

Через несколько минут, которых Задонскому достало, чтобы убрать не только эклер, но и парочку бушеток, Энгельгардт воротился.

– Родители ваши не дожили до сегодняшнего дня, Юрий Сергеевич, – со странной торжественностью проговорил он, разворачивая из льняной салфетки какой-то предмет, похожий на книгу. – Позвольте мне вас за них благословить? Уважьте старый обычай.

Предмет оказался не книгой. Потускневшее изображение являло Богородицу не на облаке, но на парящих в голубом небе золотых хлебных снопах.

– Я... да... конечно... я рад. – Молодой человек немного растерянно промедлил, потом, догадавшись, опустился на колени – отчего-то по-католически, на одно.

– Благословляю вас образом Божией Матери, Спорительницы Хлебов. – Энгельгардт широко перекрестил иконой вихрастую мальчишескую голову. – Молим тя, Пречистая Дево, покажи силу Твою на жатве нив и полей наших, и всяк злак да изобилует на утешение нас, поющих Богу: Алилуйя!

Растроганный и смущенный, Задонский принялся с преувеличенной тщательностью отряхивать брюки.

– Возьмите. – Энгельгардт протянул икону. – Да хранит вас этот образ в ваших благородных грядущих трудах.

² «Эней удачно создал государство, Под шумок основав город у старого Тибра. Бог, бог, пузатый бог Вахк!» В Москве такой считалки не ходило. И считалка и ее происхождение почерпнуты из блога Юлии Бобровой.

«И вашего Вавилова тоже», – подумал он, но вслух не добавил.

Глава V. Обманщица Шамбала

Как же все превосходно начиналось...

Глеб Бокий в сердцах ткнул окурочку в китайскую коробочку, круглую, лаковую, разрисованную золотыми рыбками. Лак зашипел: коробочка не была пепельницей. Но к этому странному выводу Бокий пришел еще в молодые годы, порча красивых вещей может доставлять не меньшее эстетическое удовольствие, чем их бережение. Как знать, а славы ли хотел Герострат? Возможно, это было лишь желание поглядеть, как огонь, будто живой цветок, сладострастно обнимет шедевр своими рыже-красными лепестками?

Еще тогда он научился таить удовольствие, оговариваясь небрежностью. Сейчас бы уж кто посмел считать странность странностью, но привычка осталась.

Поморщившись от едкого запаха, Бокий прошелся по кабинету. Кабинет был небольшим, метров двадцать, но удачно выложен краснодеревщиками по собственному эскизу владельца. Тут книжные полки до потолка, там застекленные черными стеклами шкафы с особенными коллекциями. Шкафы, конечно, запирались на особые замки, и понятное дело – вытирать пыль прислуге не разрешалось.

Напротив шкафов, на открытой стене, висело несколько фотографий и портрет, на которых, в одиночку либо в компании, присутствовал один и тот же человек – довольно недурной собой, высоколобый, с ухоженной бородкой. На портрете, окруженном фотографиями словно еще одной рамой, борода была уже белой и аккуратно раздвоенной. Черты же лица неожиданно изменились – уплотились, странным образом обретая монголоидность. Впрочем, может статься, так просто казалось из-за странного азиатского одеяния, тяжелого и разукрашенного. Или из-за нарочито бесстрастной мины изображенного.

Бокий поморщился второй раз. На портрет.

Как же хорошо все начиналось... Всего четыре года минуло. Хлопали двери в огромной квартире Луначарского, в Денежном переулке, в окнах уютно шумел Арбат. Молоденькая Натуся Сац-Розенель, красotka, звезда советского синема и новая жена наркомпроса, задорно топоча каблучками, успевала улыбаться гостям, метаться между столовой и кухней, где готовился особенный ужин. За обслугой надлежало приглядывать в оба глаза, ну как сдуру и непривычки отойдут от предписаний.

Несколько раз, выскакивая из кухни, Натуся «забывала» снять очаровательный красный фартучек, провоцируя на комплименты Геню Ягоду и Трилиссера, лениво игравших в шахматы в двусветной гостиной. Уникальные шахматы, шедевр пролетарского нового стиля. Керамические, ручной росписи, под названием «Красные и белые». Фигурки короля и ферзя у красных обозначали Сталевар и Колхозница, белыми же пешками служили окованные в цепи пролетарии. Музейная вещь. Вот только разбить их отчего-то не тянуло. Даже странно.

Анатоль поглядывал на часы, немного нервно, не обращая внимания на игривое настроение супруги. Каменев курил папиросу за папиросой, горничная еле успевала менять пепельницы. Курила, стоя в оконной нише, и его жена Софья: сухощавая, с модно утянутым бюстом, в блузе фасона «серп и молот»: вырез горловины обхватывала внутреннюю сторону красного серпа, словно прихватывая шею, голую благодаря короткой стрижке.

В воздухе висело ожидание.

А Натуся одна оставалась преспокойна, невзирая на собственную суету. В темных глазах ее резвились такие очаровательные бесенята, что Глебу Ивановичу хотелось подставить к ее лицу раскрытую ладонь – чтоб выпрыгнули на нее да пустились в пляс. Вне сомнения, держала в голове какой-то фокус. Да, не зряшно старый пень подставил голову под партийный выговор за развод.

Наконец в очередной раз ядовито прогремел электрический звонок, на сей раз показавшийся особенно громким.

В легком замешательстве Анатолий замер в позе пагата, не зная, метнуться ли в переднюю вслед за обслугой. Но двери уже распахнулись: быстрым торжествующим шагом первым вошел напоминающий цаплю Блюмкин, в черной коже, отчего-то в крагах. За ним вошли двое, но внимание прежде всего обращала на себя женщина. Высокая, отяжелевшая и широколицая, на вид старше своих без того пятидесяти лет. Вечернее платье, явившееся из растопыренного в руках Дуни палантина, было не по возрасту смелым: открытая туника цвета амазонки, с двумя крупно вышитыми цветками мака у левого плеча. В походке ее спутника прежде всего обращала на себя внимание скованность, характерная для человека, отвыкшего от европейской стеснительной одежды.

Они.

Посланники махают к трудовому народу новой республики.

Первые минуты вышли неловки. Высокие гости, только что прибывшие из «Метрополя», казались в общении тяжелы. Присутствие женщины давило как предгрозовая погода, мужчина же безразлично ускользал, рассеивая взгляд.

Наконец, после проволочки представлений и любезностей, прошествовали в столовую.

Стол, блиставший серебром, хрусталем и белоснежным льном, радовал багровыми орхидеями перед каждым прибором. Тепло пахло свечным воском.

Натуся облачилась вновь в фартучек, заявив спустя положенное время, что сама внесет горячее.

В следующее мгновение у Анатолия отвисла челюсть. Блюмкин испуганно глотнул воздух, закашлялся, подавившись. Какой афронт!

В руках Натуси красовалось увесистое блюдо, а на нем, среди свежей петрушки, возлежал румяный молочный поросенок. С лимонными ломтиками вдоль спинки, с бумажными розочками.

Словно не замечая шквала безмолвных ругательств, волнами исходящих от мужа, Натуся принялась бодро разделять угощение ножом.

Тут случилась другая неожиданность. Елена Ивановна улыбнулась, блеснув голубоватыми зубами превосходной работы. И – первой слегка подняла и протянула свою тарелку. Через мгновение обе женщины расхохотались – одни, среди эпатированного застолья.

«Поросенок» оказался пирогом, начиненным смесью шпината, острых перцев, баклажанов и моркови.

После этого общение пошло легко, как по тому самому сливочному маслу, что также отсутствовало на накрытом ввиду строгих вегетарианцев столе.

Глядя через этот стол, сквозь хрустальные отблески и дрожанье воздуха вокруг свечных огоньков на Елену Ивановну, на то, как она смеется, ест, подносит ко рту бокал, Глеб Иванович все яснее ощущал: **ведущий** в этой паре не этот, не мужчина. Он – **ведомый**. **Ведущая** тут – она, женщина. Нашла бы другого художника, не пригодись этот. Ведущая, ведающая, ведьма. Страшна как грех и так же стара, а за нижнюю чакру цепляет. Не случайно и с Натусей, молоденькой чертовкой, почти сразу нашелся у ней общий язык. Кстати, хорошо б, наконец, к Натусе клинья подбить, не одному ж старому дурню ею пользоваться. В дачную коммуны не затянешь, знает себе цену, надо потоньше. Но стоит того.

За десертом, когда белая скатерть сменилась полосатой и явились медовые печенья с фруктами, были явлены уже читанные бумаги, тем не менее важные для чтения совместного, скрепляющего.

Тревожащее, непередаваемое чувство причастности к решению судеб мира, в самом деле объединяло собравшихся. Сладко, страшно: мять Вселенную как кусок глины, определяя

формы. Не этого ли вождедел Учитель, восставший, светоносный, не пошедший дорогой предначертания?!

«На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мецанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы склонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага.

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, так же как мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу мощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения свершатся в годах 28–31—36. Привет вам, ищущим Общего Блага!»

Послание, переведенное с тибетского, было подписано двумя махатмами: Гулабом лал Сингхом и – неназываемого имени – М.Д.

Что значило это мыслете? Не самого ли Морию, главу Вознесенных Владык? Плотского, но бессмертного, судя по датам.

Головы в тот вечер кружило не вино, хотя выпито было немало. Запрет масонства был необходим, дабы не делиться властью с ушлыми иностранными ложами. Но структурное построение досталось по наследству. Нижние члены немногим отстоят от профанов, их огромное большинство. Для них мы даем материализм. Посвященные желают совсем иного. Как же бредилось этим другим в те дни, в дни приезда посвященной четы в Москву! О визите молчали газеты, но так и положено, так и надо.

Джугашвили простоват: он ждал от высоких гостей того же, чего мог бы ждать и профан: связи с буддийскими революционерами. Но тогда Джугашвили еще чаще называли Кобой, чем Сталиным. Тогда на его хотения можно было смотреть с пренебрежением.

Кто бы мог знать, что трапезничавшие в тот день за роскошным столом Луначарских, Ягода, Трилиссер и Менжинский, соберутся минувшей осенью судить сотрапезника – Яшу Блюмкина?

Революционная тройка... А ниточки – в грязнопалых руках Кобы, руках, всегда оставлявших на страницах чужих книг жирные следы, к неудовольствию владельцев? Меер хоть поартачился, а Геня с Менжинским подмахнули «вышку» почти не глядя на Блюмкина. Да и на что было глядеть? На провалившийся над выбитыми зубами рот?

Не Яков – карикатура на Якова. Что жалеть карикатуру? Зачем встречаться взглядом, заглядывать в плещущую в расширившихся зрачках смертельную бездну? Бездна-то эта как черный водоворот, может и затянуть.

Бокий, понятное дело, сам Блюмкина арестованным не видел. Он же не входил в «тройку», в отличие от Трилиссера, Менжинского и Ягоды. Но уж Глеб Иванович повидал столько, что вообразить всё мог как в явь. Унизительное страдание делает всех одинаковыми. А как унижить страданием – в этом вся дружеская компания слыла виртуозами, первым из которых почитался нынешний неудачник Яша.

Среди обалдевших Яшиных подчиненных осторожно ходили слухи, будто «на бойне» тот вел себя геройски, выкрикивал под дулом величание Троцкому. Глеб Иванович в этом, по правде сказать, сомневался. Нет большой охоты красоваться, когда видишь кафельный сток и шланг – и понимаешь, как из тебя потечёт и как наведут порядок. После нескольких десятков ночей, когда каждый раз гадаешь, не за тобой ли топчет сапогами смерть, когда умираешь множество раз вместо одного, к стене бредешь как сомнамбула – жизнь еле мреет в оскверненном теле.

А зачем поставил на Троцкого, дурак? Ясно же, что без Ленина Троцкому было не продержаться долго. Ничего, если умно отстраняться теперь от всего, что связано с Троцким, беда невелика.

Хотя мысли лезут в голову неприятные. Особенно с похмелья.

Рерихи теперь не в чести, их счастье, что унесли ноги. Можно бы их отвязать от Яши, вытянуть, да только зачем? Что дала эта бессмысленная экспедиция, это шатанье по сухоземью и пескам, что так раздражало всех командированных сотрудников, эти ночлеги в покрытых на палец жирной грязью «святых» буддийских клоаках... Города еще хуже пустынь, хорошо, сам не соблазнился поехать.

Заткнуть Кобу нечем – никаких активных масс буддийских пролетариев, никакого революционного перманента в Азию.

Но Глеб Иванович бы сочинил, чем заткнуть Кобу. Но ведь нет главного, ради чего стоит стараться. Вслед за Рерихами, того гляди, придавят финансирование всей любимицы, красавицы – **Лаборатории**. С Кобы станется и самое страшное – снять прикрепление Лаборатории к лагерям, проще сказать, лишить ее базы для опытов, человеческого материала.

Нет результата. Рерихи взорвались китайским, будь этот ориентализм неладен, фейерверком – и оставили клопяной запах использованных пистонов.

Обеим направлениям работы Лаборатории все эти контакты с махатмами не дали ровнешенько ничего. А направления – архиважные, как сказал бы нынешний терафим при жизни. Когда еще говорил, а не тряс головой и не мычал.

Первое еще более-менее интересовало Кобу: долголетие с перспективой бессмертия. Проект «Неорганика».

Второго – власти над сознанием, проект «Трильби», узкое мышление Кобы не вмещало. Он же рожден профаном, как его занесло так высоко? Опора на страх, как главный инструмент власти, ничтожество! Не понять, что страх – палка о двух концах, чем больше его внушаешь, тем больше страшишься сам! Подозревает всех и каждого, а до сих пор не понял! Рожденный ползать, да...

Надежна лишь власть, управляющая разумом. Это и любой теолог разъяснит: ликвидация свободы воли.

Где же папиросы? На столе только смятая картонка из-под «Зефира». Вроде бы глаз зацепил в передней, на подзеркальнике.

Глеб Иванович вышел из кабинета.

– Отдай, дура!

– А ты – рваная авоська!

Чертеняки опять скандалят – весело, с пылом. Где это они? На кухню пробрались, любимое их место – у котлов. Чертеняки, чертеняки. Дерзкие, свободные, всегда настоят на своем, во всяком случае, на том, что им кажется по наивности своим.

Глеб Иванович усмехнулся. После развода с Софьей минуло уж одиннадцать лет. Оксане было около трех, Алёне – годик. До школы он только наезжал баловать, возня с малолетними вышла бы обременительной. Но уж подросли, так забрал. Софья даже особо не артачилась, боялась, но перечить не смела. Вообще детородство ей не просто испортило фигуру, оно бы ладно. Но полезли ворохом – у кого, у дочери Доллера и Шехтер, несгибаемых народовольцев – какие-то бабы кислые обыкновения. Засемейнела, потянулась к бытовой рутине. Куда что делось? Алену вовсе проглядела – позволила няньке сносить покрестить. То-то она всегда и пасует перед Оксаной, всегда на вторых ролях. Оксанка, та некрещенная, сразу и видать. Шустрее любимица, ох, шустрее.

– Что у вас такое «авоська»? – снисходительно поинтересовался он, заходя на кухню.

Так и есть. Оксанка, с длинной вилкой в руках, взобравшись на табурет, зависла над кипящей кастрюлей. Алена вилась рядом с плитой. Таскают еду. До еды обе жадные, будто

из голодного края. Даже странно, дом ломится же, чего еще? Ну и ладно, здоровей будут. Не барышни. Дерутся из-за каждого куска – тоже хорошо, нормальное соревнование, со зверинкой.

– Ты не знаешь? Фроська нам рассказала. – Оксана подцепила на вилку истекавший жгучим соусом кусок гуляша. – Это сетка, ну для базара, плетеная. Население так уж давно говорит. Взял сетку – на авось. Вдруг случайно что-нибудь будут продавать.

– Не знал. Хорошее словцо. Вижу, опять у Фроськи из-под рук воруете?

– Воровства не бывает, – отчеканила старшая. – Кто хочет, тот может. Желание это право. Так?

– Для вас – так. Для населения еще пока есть тюрьмы.

– А Фроська говорит, что раньше не могло быть слова «авоська», – влезла младшая. – Что раньше каждый знал, чего и где он купит. Раньше это при царе.

– Вот же дура. – Глеб Иванович окинул дочерей одобрительным взглядом. Ещё голенастые и тощие, но их одинаковые, красные в белый горох летние платья уже тесны в груди. Пошиты прошлым летом, слегка с запасом, а вот же, до конца этого не доживут. Яркий цвет идет к темным густым волосам, коротко подстриженным, само собой. Волос жаль, но так надо. Одинаковы не только платья, сами чертеняки тоже на одно лицо. Темноглазые, горбоносые, с яркими большими ртами. Но красивые, уже сейчас. – Но коль скоро ты наябедничала, ответь: почему я Фроську не велю арестовать? За такие речи, что при царе лучше жилось, по глупой голове ее не поглядят у нас. Но все-таки ничего я ей не сделаю. Почему?

– Почему? – Алена в задумчивости закачалась с носка на пятку – совсем еще по-детски. – Пожалеешь?

Было видно, что она не столько полагает за отцом чрезмерной доброты, сколько пытается отгадать, какой ответ удачнее. Как решает школьный пример.

– Папа пожалеет? Фроську? Тьфу, ты сама не умнее! – Оксана, испачкав щеки, откусила от наконец извлеченного из соуса куска.

– А причина наших действий, или нашего бездействия, редко бывает одна. – Чертеняки забавляли, отвлекали от неприятных раздумий. Глеб Иванович удобно уселся на старый венский стул, перекочевавший на кухню из комнат. – Первое – другая, пусть не Фроська, а Манька или Танька, думает точно так же. И тоже рано или поздно проговорится. А так много Фросек нам в тюрьмах не надобно. Кто-то должен и еду готовить. Ты же не захочешь у плиты сама стоять? И ты не захочешь. То-то и оно. Второе – надлежит время и силы всегда рационально расходовать, не устраивать себе лишних хлопот на пустом месте. Новую дурищу обучать, где что лежит, что когда делать, без необходимости в этом смысла нет. Но есть причина и поважнее этих двух, чтобы ее пощадить. Это вам еще не дойти своим умом, так что запоминайте. Теперь она допустила промашку и стала ценнее, чем была. Мы всегда можем связать благодарностью того, чью вину знаем. А окружать себя надо только теми, кем можешь управлять. Власть над людьми – штука опасная. Кто не понял, тот в могиле.

Неприятная мысль опять царапнула. Забавляться дочерьми расхотелось. Бокий резко поднялся и вышел наконец за папиросами, в самом деле лежавшими в передней.

Вслед прозвучали крики: Алена, наконец, исхитрилась выхватить вилку у сестры.

Глеб Иванович в последнее время заметил за собой, что курит, пожалуй, многовато. Плохой признак, попытка утаить неврастению. Когда в руках папироса, жестикуляция не так заметна. Самозащита.

Ну и успокаивает, нельзя же все время пить и нюхать. Покуда нет результатов от проекта «Неорганика», во всяком случае. Пятнадцать направлений опытов – и пусто. Ни один объект не помолодел. А трое так и вовсе сдохли.

Проект «Трильби» имеет смысл, пожалуй, якобы прикрыть как нерезультативный. Спрятать от Кобы прежде всего. Коба ведь, если не страшиться заглянуть правде в глаза, и сам

может понадобиться на роль объекта. Поэтому даже лучше, что он утратил к «Трильби» интерес. Упрятать концы в воду вполне возможно. Но – что толку? Хоть в самом деле прикрывай.

Но уж нет, он будет барахтаться до конца, сбивая молоко в маслице. Яшка, сгинув, положил начало новому направлению. И даже наметил кое-что к разработке.

Кое-кого, если сказать точнее.

Очень сокрушался, впрочем, что сам же не позаботился сохранить в живых самого важного «контактёра». Но тогда все только начинали грезить Шамбалой, и сами вождедения были еще далеко от настоящего угара, куда как далеко. Да и война, хоть чаша весов и качнулась в революционную пользу, еще не была завершена. Не до того было, что да, то да.

Бокий, швырнув в лаковую шкатулочку давно погасшую папиросу, сел за стол, потянулся к ряду папок, выстроившихся по левую руку. Нужная отыскалась сразу. Корешок бросался в глаза: чёрный.

«Чёрная папка» – так Глеб Иванович ее и привык уже называть. Ещё совсем тонкая. Ничего, черти наворожат, потолстеет.

Открыв папку, Бокий погрузился в чтение.

...Невысокая девушка в юбке из чертовой кожи, сидевшая на подоконнике в парадном с банкой сметаны в руках, между тем задалась вопросом, безопасно ли уже войти в квартиру.

Хозяева не должны догадаться, что она слышала разговор. Обыкновенно неловкая, она умудрилась выскользнуть из передней обратно на лестницу совершенно бесшумно.

Теперь надо будет нарочно войти шумно. Пусть Иваныч обзывает «деревенской короной», высунувшись из кабинета, тем лучше.

Ефросинья нервически теребила накинутый на плечи синенький платок – единственную нарядную свою недавнюю обновку. Что-то странное происходило с ней. Всепоглощающий страх, в котором она привыкла жить в этом доме настолько, что уже почти не ощущала его, теперь отступал, освобождая место совсем иному чувству.

Страх, влажный и холодный, как невидимая паутина, прилип намертво, ещё когда раскрестьянивали семью Вёшкиных. Фросе странным образом посчастливилось. За неделю до того, как в их избу нагрянул комбед, ее, осыпанную алыми веснушками кори, перевезли, хорошенько закутав в тулуп, на другой конец деревни, к кумам – Анюте и Тихону Карповым. У Карповых все ребятишки отболели в предыдущий год, только меньший и помер. А у Вёшкиных Фрося слегла первая. Очень хотелось матери, чтоб дальше не перекинулось, вспомнили, что можно к кумовьям. Куда ж еще? Земская больничка разорена с тех пор, как матросы убили старого Ивана Сидорыча, пытаясь разжиться спиртом. Спирта не нашлось, вот и освирепели. Фрося еще мала была тогда. Брат Савелий да сиделка Алевтина сами от греха там больше не появились. А комбед реквизировал кровати, полдюжины, ну и еще что сыскали. Мать так рассказывала. Вот больничка и ветшала потихоньку, нетопленная. Больничка хорошая была, даже вода текла прямо из стен, из медных краников, как на самоваре. Туда бы лучше Фросю. Ну да что уж, спасибо, сообразили, что можно к кумам. Так приговаривала торопливо мать, когда Фрося видела ее в последний раз, торопясь, сунув Анне узел с чистым Фросиным бельишком и мешочком морковного чаю.

Куда комбед увез всю семью, зимой, на открытых санях, мало что разрешив взять с собою, спрашивать поостереглись. В дом Вёшкиных вселились Половинкины, пьяница Семен и его злющая Мавра. Вселили их, по слухам, за многодетство. Детей Половинкиных в самом деле никто не удосуживался сосчитать, и вскоре они уже бегали в обновках Фросиных братьев и сестричек.

Выздоровливая, девочка со двора не выходила по строгому наказу свойственников, благо все, для жизни нужное, находилось в крытом дворе. Яркого солнечного света хотелось почему-то невыносимо, но послушаться даже не приходило в голову. Фрося боялась.

«Донесет Мавра, – хмурился Тихон. – Семён бы ничего, он кроме зеленого змия слона перед глазами не различит, не то что малую девку, а Мавра она ехидина. Да и мальки у них глазастые, как всякая голытьба».

«Так как же оно, отец? Так и жить девке взаперти?»

«Недолго же выйдет. Комбед и к нам дорожку топчет. Кто-то да узнает, чья. Хуже будет. Вот что, мать. Определим-ка девку в город. Нилыч в трактире поваром, оно сытнее. Он уж старый, девка ему, бобылю, хоть воды подаст, коли что. Отвезу».

Нилыч вправду оказался стариком незлым, ворчал больше для порядку, подкармливал. И то сказать, сколько хорошей еды оставалось и на кухне, и после посетителей! Но страшна была Москва с громадинами домов, с толпами на улицах, с хищными стайками похожих на нечистую силу беспризорников в волочащихся взрослых одеждах, нimalo не мешавших убежать с немыслимой какой-то быстротой. Даже грязь их была какая-то страшная, не говоря уж о глазах, глядевших с детских лиц – что-то тайное и черное повывавших глазах. В первые недели они немало всячины успели повывывать у Фроси из рук на улицах. Страшны были посетители трактира на Сивцевом Вражке, небрежно сыпавшие деньгами, страшны на разный лад, но все.

Страшно было, когда Нилыч помирал от тифа. Тогда опять пошла по Москве эпидемия, но врачиха сказала, что в больницу класть не положено, потому, что эпидемии велено не быть. Поэтому Фрося ходила за стариком самое, до трясушки боясь заразиться. Знала: соседи и в комнату не зайдут, поберегутся. Страшно было потом одной с мертвым, хоть и не слишком долго.

Ну и, наконец, биржа труда, где Фрося сказала Нилычевой племянкой, списав на тиф уж заодно и семью. Тоже было страшно, что дознаются. Поленились. Комнату, понятное дело, забрали, но до трудоустройства поместили в общежитие. Впрочем, место нашлось быстро. Это самое место, в семье комиссара ОГПУ.

Здесь было страшнее всего. Сам вид Глеба Ивановича до холода парализовывал Фросю. Синюшно бледное лицо со впалыми щеками, слишком большие, ничего не выражавшие глаза, тонкие и очень холодные пальцы, к которым было так невыносимо случайно прикоснуться. Всепоглощающий ужас, что как-нибудь велят тоже ехать со всеми разухабисто мертвыми гостями на дачу эту ужасную, хоть бы даже прислуживать. Решилась твердо: лучше в Москву-реку. Покуда этого, впрочем, не случилось. Иной раз Фросе казалось, что Глеб Иванович видит в ней не семнадцатилетнюю девушку, а что-то вроде ходячей куклы для услуг.

Как выяснилось, она ошиблась. Она вполне для этих людей одушевлена. В такой мере, что ее душой можно владеть так же, как ее работой, ее временем.

До того, как тело облипло страхом, Фрося была девчонкой сообразительной, резвой умом. Читать и считать научилась куда лучше братишек. Арифметика давалась ей особенно.

Теперь страх вдруг высох. Больше не было его на коже – холодного, все время осязаемого. Высох и осыпался, как прилипшее к рукам во время стряпни тесто.

Голова сделалась ясной.

Фрося, осторожно перехватив банку, спокойно направилась к двери квартиры. Портившее ее кроличье выражение, когда ключ повернулся в скважине, воротилось на лицо само по себе, без осознанного усилия – как ладно сидящая маска.

Глава VI. Фундамент пандемониума

По шагам дочери Анна Николаевна всегда узнавала еще издали ее настроение. Вот и теперь, когда внизу парадного застучали ботинки, они, словно барабанные палочки, забили по ступеням тревогу.

Лена бежала наверх, Анна же Николаевна, вышедшая с корзинкой на руке из четвернадцатой квартиры на лестничную площадку, остановилась, ожидая.

В груди кольнуло. Разумянившееся от полета по высоким лестницам личико отражало что-то худшее, чем заурядные детские неприятности.

– Мама!

– Что случилось, Ленок?

Всегда ждешь, что еще случится. Ежечасно и ежедневно. И ведь оно случается. Родители дома, значит, слава Богу, не с ними.

– Ленок!

– Мамочка, там... Пойдем, пойдем скорее! Оставь корзину, мама! Не до провизии...

Как случалось довольно часто, Анна Николаевна подчинилась ребенку. Что-то властное, отцовское, неуловимое звучало иногда в звонком этом голосе.

Лена казалась слишком взволнованной, чтобы толком объяснить, куда и зачем зовет мать. Анна Николаевна обняла девочку за плечики. В парадном было пусто, чему вышколенная с юности на запрет публичных проявлений чувств, она не могла не обрадоваться. Лена, противу обыкновения, не взбрыкнула. Прильнула, как маленькая, к взрослой руке, к материнскому боку. Так они и миновали пролеты, ведущие на четвертый этаж. Обе в темно-синем, оттенка берлинской лазури, что красиво привлекал внимание к одинаковым золотистым волосам.

Внизу Анна Николаевна сняла руку, а девочка, столь же машинально, выпрямила спинку.

– Там... На Литейном, – выговорила наконец Лена. – Артиллерийская.

– Идем, дорогая, идем, – ровным голосом отозвалась мать.

Движение на Литейном оказалось перекрытым. Помимо того дорогу перегородили и для пешеходов. Взволнованная толпа, уже не малая, не позволяла толком разглядеть, что происходит чуть дальше, у Сергиевской Всей Артиллерии церкви.

Впрочем, Анна Николаевна уже поняла все.

«Им мало убить Колю, им мало запретить его стихи. Весь наш мир приговорен, его убьют весь. Пытаешься найти какую-то выбоинку меж жерновами, чтобы в ней жить. Иной раз и вправду что-то начинает получаться. Но каждый раз – черная метка, напоминание: вы всего лишь ждете расстрела».

И, словно замыкая четверостишие, на прозвучавшее в голове слово «расстрел» срифмовалось случайно услышанное:

– Тесно им, вишь, стало на Гороховой, – вздохнула старушка из простых, в сереньком платочке. – Здесь теперь хотят христианский род убивать-мучить. Сказывают, много этажей понагромоздят. И вверх и под землю. Для подвалов для пытошных. До адища глубиной пойдут этажи.

– А вы бы, гражданочка, поаккуратнее с контрреволюционной агитацией, – развязно вмешался молодой человек в мятых брюках и полосатой спортивной рубашке, украшенной значком Осавиахима. – Так ведь можно и неприятностей получить.

– Яйца курицу не учат, – гневно отозвалась старушка, оторвав взгляд от рабочих, разгружавших за ограждением грузовик, под приглядом солдат в васильковых фуражках с красным околышем. – Особо если курица хоть и старая, да годная, а яйцо вконец тухлое. Чем меня стращать надумал? Я пятерых сыновей пережила, чего мне терять-то? Развелось иродов-супостатов...

Все меньше и меньше столь откровенных слов на улице, подумалось далее Анне Николаевне. Не выбирают слов уж в самом деле только те, у кого ничего в жизни не осталось. Ей в ее тридцать с небольшим лет, в ее четвертой жизни, есть что терять. Первая жизнь, зыбкое воспоминание, слишком счастливая сказка. Сказка, что рассказывалась на сияющих паркетах, казавшихся маленькому ребенку не комнатами, а площадями. Сказка с дрожащими свечками и бьющими в барабаны стеклянными зайцами на немислимо огромных ёлках, сказка, расширяющаяся гравиевыми аллеями, лужайками, рощами, прудом, доверчивым пони Орешком, первой настоящей лошадейю Федрой... С музыкой, с неспешным шелестом прописей и круженьем

глобуса, с теннисом, танцами... В нее теперь трудно верится, в ту сказку. Вторая жизнь, жутковатая, но высокая – курсы сестер, военный госпиталь... Третья, голодная и очень страшная, но такая живая: безумная замороженная влюбленность в Колю, рождение Лены, которую в первый год жизни было порой вовсе нечем кормить – даже пришлось отдавать на несколько месяцев в приют. Тяжелое счастье, но счастье. Та жизнь оборвалась в том черном августе. И эта, нынешняя, тоже страшная, но иная, безжизненная. Но сколько все же дорогого в ней: родители, театр, маленький ребенок и эта девочка, что порой так мучительно напоминает Колю: неуловимыми манерами, жестами, привычкой раскачиваться на стуле и в задумчивости барабанить пальцами правой руки.

Анна Николаевна вздохнула, кинула невольный взгляд на дочь, удостоверившись, что девочка не оторвана от нее толпой. За руку не возьми, она-де уже большая. Иногда ее терзали угрызения совести: ведь не только потому бэби так часто и подолгу у родных, что там молоко и чистый воздух. Лена, маленький бессознательный деспот, отчего-то требует полного внимания всей семьи. В сердце деда она, не замечая, отгеснила всех, правит маленькой королевой. Так ли он воспитывал ее самое, Анну? Ведь был куда как строг. И к чему она, взрослый человек, сейчас пошла на поводу у ребенка, придя сюда, где сейчас будет горько и страшно?

– Расступитесь, товарищи! А лучше и разойдитесь, здесь работы идут.

В толпу вклинился еще один взвод: в форме военных инженеров. Их сопровождала какая-то женщина в кожанке и короткой юбке, прокуренная даже на вид, с косынкой на стриженных темных волосах. Сколько их сейчас, таких женщин? Все на одно лицо, у всех одна манера – одновременно грубая по-мужски и по-женски разбитная.

– Граждане, разойдитесь! Граждане, ведутся инженерные работы!

Теперь это у них «инженерные работы»: уничтожение.

Здесь покоятся артиллеристы, русские герои.

Старушка мелко крестилась. За ограждением женщина деловито показывала какие-то бумаги курившему на особицу командиру. Что делалось вокруг самой церкви – не удавалось увидеть.

– Воротимся, Лена! К чему на это смотреть? Мы же ничем не можем помочь.

– Нет, мама. – Девочка была немного бледней обычного, но казалась уже спокойной. – Ведь нехорошо уходить, если расстреливают друга, правда? Пожалуйста, останемся до конца. Я хочу... я хочу запомнить.

Как же похожа! Коля, будто Коля, только маленький! И он бы не ушел, стоял бы и смотрел, чуть прищурясь, заледенев лицом, словно бы ненадолго повзрослев. Как же хорошо, что осталось несколько Колиных детских фотографий... Все, что осталось от Коли. Несколько фотографий – и эта девочка, которую можно лишь любить, но невозможно – понять.

«Она будет поэт, Аня».

«Почему она? Может, это Лева унаследует от тебя поэтический дар? Если таковой вообще можно унаследовать. В чем я позволю себе все же усомниться».

«Отчего никто не удивляется наследственной музыкальности? Я уверен, и поэзию можно передать в крови. Кровь – великая тайна, она исполнена памяти. Не знаю, почему. Но нет, не Лева. Это будет она, моя наследница. И такого наследства не экспроприировать хаму».

Грохот ударил как бич, оборвав воспоминание.

Кто-то рядом смеялся, пьяно, грязно. Заплакало несколько женских голосов. Старческий, дребезжащий, потянул дальше на мгновение остановившуюся молитву.

Фигуры разрушителей, стоявших внутри ограждения, скрыло облако тяжелой пыли. Словно густой туман, только грязный и сухой.

Очень скоро облако развеялось, оставив синие фуражки словно присыпанными мукой.

Еще один взрыв. Страшнее первого. Новая пылевая завеса накрыла уже и толпу.

Анна Николаевна закашлялась. Лена стояла прямо, как оловянный солдатик.

– Аня! Аня...

– Мама?.. Что ты здесь делаешь? – Анна Николаевна вздрогнула от неожиданности.

– Пришла узнать, что здесь делаете вы. – Лариса Михайловна пыталась справиться с отдышкой. Вероятно – слишком быстро шла.

– Как ты догадалась?

Пыль оседала, являя зрелище разрушения. Слева стены снесло полностью, по фасаду справа часть кладки уцелела почти на уровне человеческого роста. Полуразбитые стекла засверкали острыми льдинками в полувывороченных рамах. Обломки кирпича осыпали весь тротуар и часть мостовой.

Дальше взрывать не стали. Суетливо подогнали какую-то катапульту не катапульту – с чугунным шаром на цепи. Остатки стен доламывали уже ею, оставляя фундамент.

– Не ошиблась, как вижу. – Лариса Михайловна поправила на плечах наспех наброшенную шаль, против обыкновения не заколотую камеей. – Для чего здесь девочка?

Девочка... Анна закусила губу в бессильном раздражении. Так, отчужденно, мать обычно называла внучку. В отличие от Николая Александровича, которому испытания и тяготы, казалось, скинули лет десять, Лариса Михайловна, как думалось иногда Анне, замуровала себя в столь жестком коконе воспоминаний, что вылететь наружу сможет только душа. Мать неприятно отказывалась замечать этот нелепый, пошлый новый мир, замечать его и жить в нем. Она лишь скользила по поверхности, безразличная, холодная. Не женщина, тень.

Впрочем, справедливости ради, одернула себя Анна Николаевна, на свой лад и мама печется о них. Ведь все же – спешила.

Вопрос, пожалуй и без того риторический, остался без ответа.

– Идемте-ка отсюда, дорогие мои. Делать тут решительно нечего. И присутствием своим мы церкви не воротим.

Анна предложила матери руку, удерживая в другой ладонь Лены.

Шли молча, неторопливо, приноравливаясь к шагу пожилой дамы. Анне все казалось, что по всей улице висит эта безнадежная пыль, серая пелена разрушения. Будто все заволкло сухим смертельным туманом.

Вот уже и парадное, а туман достиг и Эртелева. Господи, зачем бы он сдался Чехову, этот переулочек? Что Чехову до Петрограда? Он и не жил здесь и о нем не пишет. Никакого смысла. Ни в чем никакого смысла.

– Лариса Михайловна, Анна Николаевна. – Задонский, вышедший из дверей им навстречу, приподнял шляпу. – Елена Николаевна!

– Добрый день, Юрий Сергеевич, – тускло отозвалась Анна. Лариса Михайловна только сдержанно кивнула.

– Не добрый, – уронила Лена. – День не добрый. Совсем.

– Hélène!

– Извините Лену, – тихо ответила Анна Николаевна. – Она немного огорчена.

– Понимаю. – Задонский невольно повернул голову в сторону Литейного. – Анна Николаевна... У меня мысль мелькнула, не сочтите за дерзость.

– Ни в коем случае. – Гумилева чуть улыбнулась. Да и как было не улыбнуться ему, такому славному и юному – светловолосому, не научившемуся еще хорошо повязывать галстук. – Что у вас на уме, признавайтесь?

– Я чаю, вы с Ларисой Михайловной нуждаетесь в отдыхе. – Задонский теперь смотрел на Ленину золотую макушку. – Но сдастся мне, Елена Николаевна еще не набегалась. Вы позволите, если есть такое желание, ей прогуляться со мной немного?

– Мама! – Лена чуть оживилась. – Ты позволишь?

– Право же, могу вас только поблагодарить, – опережая возможное недовольство матери, поспешила Анна. – Классов у нее сейчас нет, до осени, можно и погулять иной раз подольше. Часов до пяти.

– К пяти доставлю принцессу обратно в замок. Честь имею. Идемте, Елена Николаевна?
– Идемте!

Лена, уставшая от печали, бойко прибавила шагу. Молодой человек тоже зашагал быстро – с ребенком наперегонки.

– Юрий Сергеевич, а куда мы пойдем?

– Гмм... – Задонский улыбнулся. – Думаю, что мы пойдем через Фонтанку... Выйдем на Невский... Затем пойдем на Мойку...

– Так нечестно! Вы по правде ответьте – куда?

– В самое интересное место на свете.

Глава VII. Женщины и поэты

– Заварить тебе травяного сбора, мама? Ты устала. – Голос Анны Николаевны сам был усталым. Неожиданно уставшим показалось и лицо, словно молодая женщина наконец выпустила из клетки надежно запертую в присутствии детей тоску.

– Я выпила бы чашку декохта, но немного позже. – Лариса Михайловна опустилась в кресло с высокой спинкой. – Я хотела поговорить с тобой, Анет.

– Я в твоём распоряжении. – Анна села на стул визави, напротив окна. – Вероятно, о Лене?

– В том числе, но не только о ней. – Лариса Михайловна привычным жестом, не глядя, взяла со столика китайскую шелковую коробочку, с вышитыми по ней пагодами. У Ларисы Михайловны была не совсем обычная привычка – вертеть в руках два нефритовых шара, чуть меньше яйца размером. Внутри этой коробочки, в двух гнездышках дрокового цвета, эти зеленые шары и хранились обыкновенно. Лене не разрешалось с ними играть.

– Лучше уж я пойду с нею вдвоем куда не следует, чем она побежит одна, – Анна взглянула на мать упрямо – не подозревая, сколь похожа сделалась в этот миг на свое дитя.

– Ты больше понимала слово нельзя в ее возрасте, – Лариса Михайловна вздохнула. Волосы ее, наполовину поседевшие, еще отливали золотом, тем же, что у Анны и Лены. Годы заострили черты ее лица, но тип, что поэтическая среда некогда определила как «боттичеллиевский», но являвший скорее что-то среднее между Симонеттой Веспуччи и менинами сумрачного испанца, еще в этом лице сохранялся – тоже общий для всех трех. На Симонетту больше походила Анна, на инфанту Маргариту – Лена. И обе – на старшую женщину. – Хотя, когда ты была ребенком, это было в сотой доле не столь существенно. Да, Анет, меня тревожит воспитание твоего деда, с твоей покорности. Но мать – ты. Ты должна понимать, что дитяти на пользу.

– Папе лучше знать. Я думаю, Коля бы его воспитание одобрял.

– Nicolas не сумел поладить с новыми властями. – Шарик в ладонях Ларисы Михайловны звякнули друг о друга. – Он был из нескгибаемых. Само собой, он бы одобрял все, что исходит от Николай Александровича. Но мой муж витает в сфере идей. Не прерывай меня, я прекрасно знаю, что единственно он устраивает все наши житейские нужды. Но его ведет абстракция. Воспитать девушку из семьи, помнящей Крестовые походы и державшей брачные венцы над Государыней и Потемкиным, дочь поэта, гордую, знающую себе цену. Но это скорее опасность там, где нет круга, способного это естественным образом оценить и принять. Пусть он учит ее сопротивляться ударам, но половину из них он готовит внучке сам. За меньшую внучку я много меньше тревожусь, это воспитание вы легко уступили ее агнатам. Те дед и бабка – люди более практической складки. Но какую судьбу вы уготовливаете Елене?

– Но что мы делаем неверно, по твоему мнению, мама?

– Ты удивишься, что я знаю недавний случай. Даже Николай Александрович не знает. На святой эта их... руководительница класса устроила, чтоб ученики писали на доске список: кто был на праздник в церкви. Дети выходили и писали имена одноклассников – доносили. А Лену никто не заметил шедшей с нами на службу. Ее имени на доске не было. Догадываешься, что было дальше?

– Я не хотела бы гадать.

– Эта... особа спросила еще раз: кто хочет дополнить список? И тут руку подняла Елена. Особа была в оторопи, ей подумалось, что девочка тоже хочет на кого-то донести, но верилось с трудом. Тем не менее, она позволила Елене выйти к доске. Лена подошла, взяла мел и написала: Гумилева Елена.

– Красивый жест. – Анна усмехнулась невольно. – Коле бы понравилось.

– Там было кому оказаться в восторге, не сомневаюсь. Вне сомнения, и Журов, и Иванов-второй, и Болотов, вся эта компания, ее потом осыпала похвалами.

– Мама, но откуда ты узнала? – изумилась Анна. – В школу меня не вызывали...

– Формально – не из-за чего было вызывать. Верующих детей ставили к позорному столбу – встала и она, добровольно. Не придерешься. Но после ее поступка уже не получилось над детьми покуражиться. Особа просто затаила, не сомневайся. А мне рассказала другая бабушка, очень приятная вдова моих лет, некая Надежда Павловна Коханова.

– В Ленином классе нет Кохановых.

– Ну, стало быть, ребенок носит отцовскую фамилию, не суть важно. – Нефритовый шарик лег на стол, другой его подтолкнул. Эту привычку Анна знала за матерью, сколько себя помнила. – Но знаешь, Анет, я бы предпочла, чтобы Лена вправду росла такой, как о ней сплетничают... Ты поняла, о чем я. Непримечательная, неинтересная, ничем не блещет. В такие времена в самом деле не стоит бросаться в глаза. Хотят они или нет, но нам оказывают услугу.

– Мне только не хотелось бы за такие услуги благодарить, – Анна вспыхнула. – Мама, ну пусть я. Меня есть за что ненавидеть. Я моложе, Николай Степанович любил меня больше... Но как можно злословить о ребенке? Это же гнусно!

– Богема – среда очень нездоровая, Аня. – Лариса Михайловна поймала один из своих шаров, чуть не скатившийся на пол. – Ты все же в полной мере этого не представляешь. Nicolas не был типичен для литературного мирка. Он и был человек иной складки, и путешественник, и солдат. Твой брак был благословением свыше, а не чудовищной ошибкой, как мое первое замужество.

– Ты никогда не говорила об этом так откровенно. – Анна взглянула на мать с тревогой.

– Я не вечна, – пожалала плечами старая дама. – Один раз ты должна обо всем услышать от меня. Ведь будут другие, со своими ценными повествованиями, это ты не хуже знаешь, сама испытала. А сегодня все удачно сложилось. Девочка на долгой прогулке, Николай Александрович не скоро воротится из бюро переводов. Владей пролетариат иностранными языками, мы умерли б с голоду. Наше будущее сулит множество обличий смерти, но голодную едва ли. Так что нам никто не помешает. Но сначала, пожалуй, все-таки завари мне сбор.

Молодая женщина, соседка Олимпиада, или же Липа (Лена в последний год взяла привычку за глаза именовать ее Деревяшкой), давила в ступке около своего примуса чеснок. Отвратительный запах, казалось, наполнял всю кухню.

Анну неожиданно охватило странное чувство: что делает здесь эта чужая? Зачем чужая и незнакомая ходит по их дому в растоптанных домашних туфлях на босых ногах? Зачем она тут вообще? Зачем эти четыре кухонных стола в ряд вдоль изразцовой бело-голубой, с голландскими сюжетами, стены? Когда-то, в детстве, все здесь было таким родным, так сверкало медью, так белело крахмалом... Здесь пахло пряностями, и проворная кухарка Поля весело раскладывала на противне фигурки имбирных пряников. К восторгу Ани и Саши мама меж тем сама расписывала уже испеченные пряники разноцветной глазурью, сидя тут же, у единствен-

ного кухонного стола – огромного и старого. В углу за ним стояла лошадка на колесах, перекочевавшая украшать кухню потому, что жаль было выбросить, а наездники ее уж выросли.

– Гречи опять нету в продмаге.

Немодулированный голос Липы вернул Анну в сегодняшний день. Что и можно извинить этим совслужащим, но только не эту бедность интонаций.

– Даже на Литейном. Уж неделю нигде.

– Да, я тоже не видела ее в продаже, – вежливо ответила Анна.

В действительности семья совслужащих Фаниных была не самым худшим из всего, что могло вторгнуться извне. Даже невзирая на редкостно крикливого младенца, чей плач и сейчас доносился из распахнутой двери комнаты, бывшей столовой. Кошмарная бабища Анюта, элемент чисто пролетарский, занимала одну из бывших спален. Липа с мужем жили в двух комнатах, вторая, слишком маленькая, чтобы в нее вселили по отдельному ордеру, когда-то была Аниной детской. Бывшую комнату брата занимал учащийся совпартшколы, «освобожденный» из производства рабочий. По счастью, он больше отсутствовал. Могло быть и хуже. Но...

Кипяток забурлил. Анна торопливо сняла чайник с примуса.

– Как ты думаешь, Аня, отчего тебя воспитывали так строго? – начала Лариса Михайловна, когда нефритовые шары улеглись обратно в свои шелковые гнезда, а на столе явились чашки – декокт для старшей и чай для младшей дамы. – Знаю, ты всегда больше любила отца. Много больше, он был к тебе добрее. Он был... не столь ревностен в своей строгости. А мне было безразлично, сильно ли ты привязана ко мне. Я слишком страшилась повторения в тебе своих ошибок. Поэтому поначалу меня безмерно напугали твои отношения с Николай Степановичем... Но только покуда я его не увидела. Я тогда сразу успокоилась. Он оказался другое.

– Я понимала, что брак твой с Бальмонтом был несчастлив – иначе вы не расстались бы. В вашем поколении развод был еще редкостью. – Анна Николаевна, смутившись, отвела глаза от лица матери. На дне чашки оказалась очень длинная чайинка – сулящая обнову. И, между прочим, скорее всего привирающая. – Но не могла же я о чем-либо спрашивать?

– Нет, не могла. Потому и дождалась ответа. – Лариса Михайловна отставила чашку. – Неприятный вкус у пустыряника. Но что поделать. Я росла совсем иначе, чем ты. Своевольная, балованная. Наряды – самые дорогие, кони – самые злые, поклонники – самые завидные. Первая влюбленность всегда отдает безумием, когда же девушка привыкла во всем настоять на своих желаниях, это сущий ужас. Как же все это меня увлекло – родители против, бежать и венчаться тайно, желательно бы еще с погоней. Погони не было, но я все равно чувствовала себя героиней романа. Но влюбленность в поэта уж слишком быстро оборотилась прозой. Некрасивой и очень страшной. Кто рассуждает в восемнадцать лет? Даже если б я знала о уже имевшей быть попытке самоубийства... Она случилась, когда первый сборник его стихотворений обошла вниманием публика. Говорят, самоубийцы не меняют манеры... Во всяком случае, с Бальмонтом это было верно.

Лариса Михайловна ненадолго замолчала, поднеся ко лбу руку – белую и холеную, – словно бы назло возне с углем и примусом, с серым мылом для стирки... Ранняя молодость острее впитывает память душевной боли. В ее памяти, как наяву, выплыла балансирующая на подоконнике фигура Константина, угловатая и странно женственная, раскинутые руки, разорванный криком рот, солнечные блики, скользящие в стеклах, шум уже собирающихся снизу праздных любопытных... Нога в черной лаковой штиблете, задевшая цветочный горшок и, одновременно с грохотом соскользнувшая, крик, перешедший в рев ужаса... Страшный удар тела о землю.

– Он... он ведь из окна выпрыгивал? – тихо спросила Анна.

– С третьего этажа, – печально усмехнулась Лариса Михайловна. – Так и остался хромать. Впрочем, ему это нравилось – мефистофельское. По правде сказать, Анет, я и жила в аду. Жизнь с натурой невротической, бесстыдной в выставлении напоказ самых сокровенных

сторон... Этот нарциссизм, это выворачивание решительно всего в свою пользу... Я не наговариваю, нет, о нет. Верить ли, даже собственное свое пьянство он пытался поставить в вину мне, полуробенку, только что выпорхнувшему из родительского гнезда... Якобы – я его спаивала. Так он объяснял свои эскапады приятелям, не слишком заботясь о правдоподобии.

– Мама, так ты и есть тот самый вампир, женщина-чудовище? – Анна не сумела не улыбнуться.

– И слышу я сие от глупой куколки, поющей ныне по кабакам и выбравшей кривую дорожку?

Обе рассмеялись, тепло глядя одна на другую.

– Кстати, бездарное же стихотворение, – заметила Анна. – Что-то наподобие пережеванного Некрасова.

– А ты знаешь... Тогда так не только не казалось, но и словно бы так не было, – задумалась Лариса Михайловна. – Так случается. Иные композиторы или литераторы устаревают, и уже потомки, признавая былые лавры, все же недоумевают потихоньку, что же приводило современников в такой экстаз? С твоим мужем будет иначе, тут ты моей судьбы не повторяешь. Кроме невращения вылезли и иные обстоятельства, мне неизвестные до брака. Как оказалось, Константин словно боялся пропустить мимо внимания хоть один революционный кружок. Состоял во всем, в чем только можно. Какие-то расхристанные непромытые гости, в доме то мешочки типографских литер, то листовки, то оружие... Оружия я особенно боялась, с его-то непредсказуемостью... Я все время жила в напряжении.

– И ты рассталась с ним?

– Не сразу. Выпутаться из подобной паутины непросто. Такие люди... они наделены своеобразным липким обаянием. Но все же это удалось. Двадцати с небольшим лет я думала, что моя жизнь кончилась. Я ощущала себя бесконечно выжатой и усталой, глубокой старухой. Я не испытывала горя, слишком велико было облегчение, что это терзание прекратилось. Но мне ничего не хотелось, вовсе ничего. Встреча с твоим отцом – это было откровение. Полная противоположность Константину. Противоположность во всем. Меня поразило его исключительное душевное здоровье. Ах, Аня... Поэтическая среда, она ведь очень нездорова. Да, я вновь об этом. Когда-то было иначе – при Пушкине и графе Алексей Константиновиче... Но уже в моем поколении нездоровье возделывалось и культивировалось. Тебе посчастливилось один раз... Но остерегайся поэтов, дорогая.

– Вот ты к чему, мама. – Анна вздохнула, поднялась и подошла к левому окну эркера.

– Ты слишком часто встречаешься с этим человеком в твоих поездках в Москву.

– Но это мне нужно для театра... Мама, это вовсе не то, что ты думаешь.

Павел Васильев, московский поэт, даже не тем нехорош, что происхождением, как особым тоном вот-вот скажет сейчас мама, «du простой». Кто на это глядел перед переворотами? Сейчас мы придаем происхождению много больше значения. Но Васильев, о котором не сказать машинально «господин Васильев», не просто сын прачки или кухарки, Анна успела забыть, он из идейных... врагов. Нет. Заблуждающихся? Трудно определить.

Непреложное табу – не знаться с лившими кровью врагами, к нему, конечно, не применяемо. Слишком молод. Обаятелен, хорош собой, хотя неотесан: не знает, что надо встать, когда входит женщина, при поцелуе руки – в самом деле касается ее губами. Но да и откуда бы? Но не хам, нет. А главное, самое главное – Васильев талантлив. Без скидок на происхождение или образование. Талант тоже неотесан. Но силен. Анна знала: так бы и Коля оценил.

Не добраться к тебе! На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла,
Всё равно в этом гиблом, пропадаем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.

Тема знакомства с Васильевым не касалась личных обстоятельств Анны Николаевны, однако в глазах и в неумелом, чуть детском почтении этого огромного сибиряка Анна видела – он ни на мгновение не забывал, кто она такая. Жена, вдова Николая Гумилева.

Этот неуклюжий восторг не мог не трогать искренностью. Васильев не был скован, смеялся, балагурил. «Мы ведь с вами тески, Анна Николаевна. Ну, почти. Я тоже Николаевич. По причине одинакового отчества – меня вовсе без отчества можно». Но благоговел, что в каждом жесте, в каждом взгляде проглядывало.

Причиной же знакомства было неожиданное предложение: не возникнет ли желания поставить кукольный спектакль по стихотворной сказке? Сказка была еще не готова, но полностью захватила, опутала молодого поэта. Называлась она «Град-вертоград». Дело происходило в волшебной стране, где человек не разлучился с природой, но ладил с нею. Никто не рубил деревьев, деревья сами росли, когда требовалось, в виде домов-шатров, сами протягивали ветви, делясь плодами. Стояло вечное лето, коровы делились с людьми молоком, которого было слишком для них много – так изобильно тучны были травы. «Эх, опередил Твардовский, взял уже название Муравия! И ведь вовсе не о том написал, не о том... Но я ничего, я, Анна Николаевна, их древянами назову, из истории. Тоже хорошо звучит слово... Ничем не плоха зеленая страна, хоть бы для сказки... А в нее попадает из нашего мира человек. Обычный, не злодей, для нас не злодей. А для тамошних он – чудовище. Подумайте, он же не только топором орудует, он еще и дороги топчет, тропки! А там нету ни троп, ни дорожек. Там лес и травы сами расступаются, чтобы пропустить человека... Там все живое. И вот...»

Анна взяла время на раздумье. С одной стороны – хотелось взять свою, русскую тему для спектакля. Но, если поглядеть вокруг, Гофман, пожалуй что, сейчас и надежнее, даром что романтик. Подальше он, Гофман. Опять газеты пошли воевать «великодержавный русский шовинизм». Но уж очень заражала веселая увлеченность молодого поэта.

– Он же не свой. Он же из этих, из новых, да простой. Ты еще слишком молода, Аня. Твой роман с Сержем показал – вдоветь всю жизнь ты не можешь, это и несправедливо. Но если бы Серж... Прости. Не хотела тронуть этой боли, но я тогда была бы спокойнее.

– На тебя не угодишь, мама. То – быть незаметнее, то – не знаться с простыми.

– Если бы я сама знала, как лучше. – Пожилая дама, поднявшись, принялась убирать со стола. – Да, я страшусь и того, что Лена растет уж слишком аристократкой, и того, что ты подпускаешь к себе на небезопасное расстояние пролетария. Это не вполне логично, но что поделать.

– Мама, Павел Васильев все же не пролетарий. Он поэт. Это тоже «покой», но совсем иное слово. Он в самом деле талантлив. И по-своему достаточно здоров. Но скажу тебе откровенно, как женщина женщине: я не влюблена. Да, быть может, это скверно и суетно – согреться восхищением мужчины. Но мне... мне просто от этого немножко теплее.

– Не перегрейся, душа моя.

– Не тревожься, мама. Я, сдастся, никогда не буду больше в жару. Я могу увлекаться лишь слегка, это не лишает разума, о нет. Ну кого, в самом деле, можно без памяти полюбить... после Коли?

– Женская душа не любить не может. Будь осторожна, Анет. Я не доверяю чужим.

– Я буду осторожна. – Анна, подойдя к матери, забрала из ее рук чайничек и бережно, словно в детстве, поднесла ее руку к губам. – Обещаю.

Глава VIII. Таинственный ВИР

Идти по улицам вместе с Задонским было лучше, чем с мамой, о бабушке уже не говоря: шаги у него были быстрые. Быстрые и широкие – Лена бы за такими не поспевала, когда бы тоже шла. Но ей много больше нравилось не ходить, а бегать.

Приятным было и то, что Задонский называл ее Еленой Николаевной и обращался «на вы». Словно она большая. Но ведь и не маленькая уже, это мама все не хочет понять.

Исполинский трехэтажный дворец в псевдобарочном стиле занимал одновременно и часть Исаакиевской площади и Большую Морскую. («По-нынешнему, как дома не говорили, площадью Воровского – дедушка произносил – Воровского – и улицей Герцена.) Он был огромный, немислимо огромный, как крепость.

– Здесь, Елена Николаевна, я служу.

– Это и есть ваш институт растений?

– Растениеводства. Да, так точно, это дом, где живут растения со всего света. Их тут – сотни тысяч. Но, как видите, нашим растениям не тесно.

– Их отовсюду собрали и привезли? – Лена проскользнула в приоткрытые ей Задонским двери. – А кто?

– Больше всего – сам Николай Иванович. Он полсвета обошел, то верхом, то пешком. Добрый день, Андрей Иванович! Вы из гаражей? Каковы наши надежды?

– Да понемножку, Юрий Сергеевич, – отозвался остановившийся у гардероба, по летнему времени закрытого, рослый мужчина в рабочей блузе. – К выезду под Астрахань автомобили наши будут на хорошем ходу, надеюсь. Это сестренка ваша?

– Эта юная особа – моя гостья сегодня.

– А похожи как, оба светленькие. Всего наилучшего. Пойду от машинного масла отмываться.

Все вокруг было огромным, светлым и каким-то веселым. Может быть потому, что расположение окон, продуманное для присутственного места задолго до электрической эпохи, улавливало дневной свет как нельзя удачно. А может быть просто потому, что среди ученых, торопившихся кто куда по коридорам и лестницам, замечалось немало молодежи. Полные энергии голоса, смех, стук быстрых шагов.

– Да, Елена Николаевна. Где только не побывал Николай Иванович! – Воротился к разговору Задонский. Они поднимались уже на второй этаж. – Один раз их аэроплан приземлился вынужденно около логова льва. Авиатор, говорят, перетрусил больше, чем от падения. Они ведь, можно сказать, не приземлились, почти упали. А Николай Иванович сразу нашелся: всю ночь поддерживал маленький костер. Лев боялся выйти, жался к задней стене, у его же собственного логова – этот страшный огонь! Ну а к утру и помощь подоспела. А еще Николай Иванович прошел Афганские горы – Кафиристан. Там до него европейцев в иных местах вовсе не видали. Можете себе вообразить, как местные дикари удивлялись? Они, кстати, довольно свирепые, дикари в тех краях.

– Людоеды? – Глаза Лены расширились.

– Нет. Но разбойники. Только тем и заняты, что грабят да убивают друг дружку. А Николай Иваныча тронуть не посмели. Ни разу и нигде.

– Он на моего папу похож? Ваш Николай Иванович?

– Как странно... – Задонский скользнул взглядом по серьезному детскому лицу. – Но ведь вы правы, Елена Николаевна. В чем-то да. «Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы. Но трусливых душ не было меж нас, Мы стреляли в них, целясь между глаз».

– «И, мыча, от меня убежали быки, никогда не издававшие белых», – отозвалась девочка. – Мне здесь нравится, у вас.

– Я душевно рад. А вот мы и пришли.

Огромная комната показалась Лене похожей на класс. Здесь тоже висели на стенах карты, за стеклами, расставленные на полках в огромных шкафах, виднелись мудреные сосуды и различные приборы, стояли в ряд столы, хоть и не так стройно, как парты.

– Здесь живет пшеница. – Задонский горделиво улыбнулся, словно речь шла о живой человеческой особе высочайшего ранга, к чьему двору он имел честь относиться. – В соседних залах тоже она. Пшеница у нас – самая главная.

– О, да никак мы видим новую сотрудницу? – воскликнул, подняв голову от микроскопа, молодой человек в небрежно наброшенном на плечи белом халате. Фраза отозвалась по комнате приветливым смехом.

Больше всего и тут было молодых. Они и обступили Задонского и Лену: первыми, конечно, спорхнули с рабочих мест представительницы прекрасного пола.

– Вот так коллега!

– Задонский, это сестра? Нет? А вы похожи...

– Что за гостя у нас тут такая, что все побросали работу? – поинтересовался, входя, строгого вида мужчина лет сорока в тройке старомодного фасона. Тщательно отутюженные рукава и складки подозрительно поблескивали: похоже, что костюм превосходил летами советскую власть. Впрочем, суровый его тон никого в заблуждение не ввел.

– Гостя моя, и полагаю, ей превесьма познавательного у нас побывать, – весело отозвался Задонский. – Вдруг мы принимаем будущего биолога? Елена Николаевна, представляю вас нашему Георгию Карловичу Крейеру.

– А я читала, – удивилась Лена. – Здравствуйте, Георгий Карлович. Ведь это вы пишете в журнале «Костер» про лекарственные травы? Очень интересно.

– И какие же травы вам запомнились, барышня? – Крейер казался несомненно польщенным.

– Солодка! Это от кашля. Беладонна... – Лена сморщила гримаску, вспоминая. Привычка, от которой ее тщетно пыталась отучить бабушка. – И... валериана! Беладонна и валериана это от нервов. Но беладонна не только успокаивает...

– Как знать, может статься, вы и вправду станете растениеведом, как мы, – Крейер улыбнулся.

– Нет, я не стану ученым, хотя мне очень нравится читать и про растения, и география нравится, – серьезно ответила Лена. – Я хочу быть поэтом. Как мой папа.

– Ваш папа пишет стихи? – снисходительно улыбнулся Крейер.

– Мой папа – Николай Степанович Гумилев. Он не пишет уже, он погиб.

В лаборатории воцарилось вдруг молчание. Глядя на фигурку в темно-синем костюмчике, жестко накрахмаленной беленькой блузке и тяжелых ботинках, присутствующие не могли не отдаться странному впечатлению, овевшему всех. Только лишь эта невыносимо маленькая жизнь отделяла их от тех дней, когда поэт, которого даже самые молодые из ученых читали в юности совершенно свободно, был жив и полон сил. Вот эта, такая еще маленькая, девочка – и есть живой мостик с теми годами? Как же мало времени прошло с тех пор! И как немыслимо изменилась жизнь. Неизмеримо далекой кажется Гражданская – а ведь девочка увидела свет, когда она полыхала вовсю. Кануло в Лету бесшабашное лихолетье хаотического террора, когда за лекции выплачивали жалованье пшеном или воблой, когда на поэтических вечерах сидели зимой в шубах – но словесность, живопись, гуманитарные науки еще не ощутили мертвых шор. Было ради чего брести на голодный желудок через полгорода, пешком. Теперь в залах топят, но посещать возможно лишь концерты классической музыки. Жизнь упорядочилась, но окостенела. Одно лишь не поменялось с тех лет, когда у этой девочки был жив отец: никто не знает, не попадет ли в подвал завтра. Ходят трамваи, бегают автомобили – но Дамоклов меч висит над каждой судьбой, как чужое и непривычное имя – над городом.

– Что же, добро пожаловать, Елена Николаевна, – наконец прервал молчание Крейер. – Как знать, вдруг вы станете и поэтом, и ученым.

– Путешествовать мне хотелось бы, – оживилась Лена, вспомнив разговор около гардероба. – На автомобилях. Мне очень нравится ездить в автомобиле. Я ездила! Шесть раз. Хотя трамвай я люблю больше.

Веяние трагедии рассеялось. Перед учеными стояла просто девочка, серьезная, кажущаяся то умнее, то наивнее своих лет. Девочка, которой надлежало непременно показать, как работает микроскоп.

– Сами, Елена Николаевна, сами! Смотрите, мы берем свежее зёрнышко! Его удобнее разглядывать в срезе, но после останется только выбросить. Оно сгниет, – хлопотал Задонский в то время, как остальные обступили прибор. – Для коллекции мы взяли бы засушенное. Режьте пополам. Только осторожнее, не пораньтесь. Бритва очень острая.

– Вдоль или поперек?

– А вот догадайтесь! Да-да, совершенно верно! Теперь мы возьмем предметное стекло... Только нужно его хорошенько протереть... Зиночка, будьте добры, у меня пипетки все вышли. Благодарю. Теперь мы капаем на стекло канадский бальзам... Я капаю сейчас воду, если мы не хотим долго хранить образец. Да-да... А вот это стёклышко называется – покровное. Мы покрываем им сверху... Прижимаем... Надо следить, чтоб пузырьков воздуха не попало между стеклами. Теперь вот так... Убираем лишнее промокашкой... Подкручиваем вот тут... Можно начинать наблюдение! Вот это окуляр. Вы видите?

– Похоже на горы, только зимой, когда земля голая, – после долгого молчания произнесла Лена, не отрываясь от окуляра.

– Эдакие горы, они таятся в каждом зёрнышке, что мы мелем на муку. Вам нравится?

– Очень.

Лене в самом деле все нравилось. Карты на стенах здесь и те были не такие, как в школе. Не просто карты, а раскрашенные смелыми стрелами – маршрутами былых экспедиций.

– Эй, други! – воскликнула, шумно вбегая, невысокая девушка со спадающими на строгую жакетку неакадемического вида косичками. – Команда всё бросать! Рубцов зовет к себе! У него альфа переглянулась с омегой, грушу нельзя скушать, и по сему поводу – традиционная драконья пирушка!

– Вавилов одобрил монографию? Так, Лизонька?

– Кому Лизонька, а вам – Елизавета Николаевна, – строго ответила одному из молодых ученых девушка. – Да, монография по среднеазиатской груше пошла в печать. Рубцов ликует.

– Ну, хорошо, Елизавета Николаевна. А вот Елена Николаевна, – не смутился тот, указывая на Лену. – Почти тезка. Елена Николаевна, а вы когда-нибудь превращались в дракона?

– В шутку?

– Помилуйте, какие шутки! Сами увидите!

Проистекло общее шумное передвижение в другую лабораторию. Похожую на первую, только поменьше. Но на главном из лабораторных столов красовались не совсем лабораторные вещи. Стояла и вазочка с конфетами: шоколадные «Синяя птица», молочный «Старт» и Ленины любимые «Шары Шуры». Красиво располагались апельсины, виртуозно почищенные «в серпантин», а вокруг них теснилась добрая дюжина стаканов. Имелось и три бутылки шампанского. Очевидно, только что принесенные из магазина, теплые даже на вид.

– Я как знал! – Хозяин лаборатории, в тех же летах, что и Георгий Карлович, но совсем иной – веселый, круглолицый, вытащил из сумки еще бутылку – с крем-содой. – Гостье нашей шампанеи покуда не положено. Но драконить ведь можно и лимонадами.

Ученые, со смехом и шутками толпившиеся около стола, разбирали стаканы. Хлопнула пробка в чьих-то руках, вторая. Какая-то из молодых женщин, как водится, хлопка неимоверно «испугалась».

– Валяй, Картофельный Человечек! Доводи до ума, твой черед!

Тот, к кому обращались, не очень походил на свое прозвище. Он был высокого роста, атлетического телосложения, а нос имел вовсе даже не «картошкой», но скорее греческий. Однако же откликнулся действием, принявшись что-то то длинной ложечкой то ли разливать, то ли разбрасывать по протянутым бокалам. Не поймешь: белесые, поблескивающие то ли шарики, то ли кубики.

Лена тоже протянула свой бокал с шипящим напитком.

С шампанским, улучшенным сим непонятным образом, что-то происходило. Показалось ли Лене, что оно стало много более бурным?

– Ну, за грушу! Чтоб хорошо росла!

– И, как всегда, – за шефа! Жаль, в Москву отъехал...

Прозвенев, стаканы коснулись губ. А дальше... Ой!

У кого первого из ноздрей повалил серебристый дым? Дым клубящийся, бело-серебряный, холодный даже на вид?

Вскоре этого сделалось уже не разобрать. Дым выдыхали все, стол заволокло как туманом, только звучал дружный смех.

Лена храбро отпила свою крем-соду, которая неожиданным образом оказалась охлажденной. Белесый ошметок таял и в ней. Теперь пар валил клубами и из ее собственного носика, приятно щекоча нёбо.

– Юрий Сергеевич, что это такое? – тихонько шепнула она, выждав немного – столько, сколько понадобилось для того, чтобы сделать еще два удивительных глотка.

– Жидкий азот, Елена Николаевна, – улыбнулся Задонский. – Это газ, сильно сжатый. Не опасайтесь, он решительно безвреден, употребляемый подобным манером. Мы попросту так шутим. А на самом деле жидкий азот очень нужен для лабораторных работ. Елена Николаевна, а конфеты? Вы, вероятно, любите эти, «Синюю птицу»? У них очень уж красивые билетцы.

– Нет, я люблю «Шары Шуры», – Лена протянула руку к поднесенной ей вазочке. – У «Синей птицы» красивый фантик, а внутри невкусное пралине. А «Шары Шуры» – они с полосатым суфле.

Хозяева уже немного отвлеклись от Лены, и разговор вокруг звучал словно на иностранном языке. Но говорили о чем-то, вне сомнения, интересном и веселом. Что бы ни означали эти «гомологические ряды» (Лене представились шеренги солдатиков), но о скучном так не говорят.

...Вместо пяти часов пополудни, когда обещано было воротиться в Эртелев, они только из института вышли в половине седьмого. (Рабочий день завершался в шесть, но «вавилонцы», к вящему недовольству вахтеров и гардеробщиков, имели манеру этим великолепно пренебрегать.)

У Лены немного кружилась голова. В голове же в свой черед кружились эндоспермы, зародышевые корешки, клетки и зерновки. В глазах рябили узоры, показанные микроскопом, в носу еще щекотало холодком, ноги заплетались, а ботинки казались слишком тяжелы.

– Вы устали, Елена Николаевна, – озабоченно заметил Задонский. – А поедемте-ка в такси. Хороший повод прокатиться в автомобиле в седьмой раз.

– Не надо, Юрий Сергеевич, – к удивлению молодого ученого, ответила девочка. – Пройдемся так. Мне хочется... подумать.

– Как угодно, – Задонский улыбнулся, но следующие слова девочки стерли его улыбку, словно промокашка – лишнюю каплю с приборного стекла.

– Юрий Сергеевич, вы ведь нарочно придумали как раз сегодня? Всё это? Чтобы я не огорчалась из-за церкви?

Ну вот, только что была маленькая и придирчиво выбирала конфету, а теперь этот взрослый испытывающий взгляд.

– Не вполне так... Вернее сказать, и так и не так. – Задонский заговорил всерьез, без скидки на возраст. – Видите ли... Чтобы отвлечь человека от грустных мыслей – его можно пригласить в кинотеатр. В парк, покататься на лодке или на каруселях. В кафе, поесть мороженого. Но я пригласил вас сюда, в ВИР. Вы ведь верующая, Елена Николаевна?

– Да! – четко и мгновенно ответила Лена, как обыкновенно говорят дети о взглядах, вложенных воспитанием. Дети, еще не прошедшие искусов становления собственного мировоззрения, не изведавшие страшноватого холодка колебаний.

– Тогда вы должны знать. Есть вещи, которые не сможет уничтожить никакой злонамеренный человек. Что нужно для совершения главной тайны Литургии?

– Хлеб и вино.

– Вином занимаюсь в этой жизни не я, – Задонский рассмеялся. – Но и без пшеницы христианству нельзя. Вы помните, на тайной вечере Иисус Христос сказал: «Сие есть тело Мое». Храмы можно разрушить. Но стены восстановимы, Елена Николаевна. Картинки людского безумия меняются быстрее, чем в вашем калейдоскопе. Но покуда есть пшеница – Господь Иисус Христос не бесприютен в России. Никакая власть, даже самая безумная, не попытается идти войной на пшеницу.

Господи помилуй, мелькнуло в голове Юрия, я же говорю с ребенком! С ребенком одиннадцати лет! Не лучше ли было в самом деле покатать на лодке?

– Я поняла, Юрий Сергеевич. – Лицо Лены приняло свойственное ей иногда торжественно-серьезное выражение. – Я поняла вас. Литургию можно служить и под открытым небом. Некоторые так делают, я знаю. Главное, что церкви построены нами, людьми. А хлеб – послан Господом для того, чтобы Сын Его все время был среди нас. Правильно?

Гулявшие с утра тучки вдруг разорвал луч вечернего яркого солнца, ударивший, словно молния, в Медного Всадника. Одно мгновение памятник сиял – словно изваянный из огненной стихии.

– Правильно, – улыбнулся немного взволнованный Задонский, когда металлическое пламя отсверкало. – самого страшного не случилось. И – не случится.

Глава IX. Страшнее смерти

Глеб Иванович наконец позволил себе закурить и распорядился чаем. Все для себя одного, хотя иной раз и делался любезен: предлагал портсигар, приказывал подать два стакана. Но ничто, исходящее от хозяев жизни, не может делаться попросту. Нужно чутье – необъяснимое, но безошибочное чутье: когда неожиданная «доброта» уместна, а когда навредит. С этим – навредит, ведь и сам не поймешь почему, но знаешь уверенно.

Уже личность хрустит под сапогом, хрустит, словно майский жук в нелётную пору, а всё ж расслабляться раненко. Есть еще ненависть во взгляде, еще не вся растворилась в страхе. Да и страх не тот. Объект боится разумно, боится нового заточения, боится пыток, расстрела, наконец. Это само по себе результат, а все ж не то. Настоящий, высшей пробы ужас должен быть иррационален. Объект должен бояться его, Глеба Бокия, не потому, что он способен швырнуть в тюрьму и убить, а просто потому, что он – Глеб Бокий.

Где же недожал, где, размышлял Глеб Иванович, попивая чай перед сидевшим визави через массивный стол немолодым человеком. Человеком, чье горло вне сомнения пересохло, чьи нервы требуют табачной затяжки. Где?

Жаль, что одинок. Страх за близких – хорошее промежуточное состояние между страхом разумным и страхом иррациональным. Или попробовать вот эдак?

– Не стоит делать из нас каких-то живодеров, – Бокий, чуть-чуть улыбнувшись, отпил чаю. – Взаправду мы всегда стараемся обойтись малым числом. Ведь мы же вас не арестовали

теперь, не так ли? Попросту взяли на себя смелость злоупотребить несколькими часами вашего времени.

Собеседник криво усмехнулся. Губы, синюшно бледные, предавали его, рассказывая о том, что пряталось за неподвижным выражением лица. За глазами ему тоже удавалось следить, рассеивая взгляд, не дрожали и руки. Только губы подводили. Да еще разве что выступившая на крыльях носа и на висках испарина. Тоже признак, на который нужно обращать внимание, неподконтрольный.

Помнится, когда-то его призвал обращать внимание на этот признак Яшка Блюмкин. Эх, Яша... Помогли ли тебе полезные эти навыки по другую сторону этого стола? Наворотил ты ошибок, Яша. Эсерку Зарубину слишком близко подпустил... Баба она ушлая, все твои контакты с Лейбой отследила. Дурак ты по всем статьям оказался. Умные в наших играх не проигрывают.

– Может статься, что мне жить и осталось не больше часа, – с достаточной твердостью в голосе произнес допрашиваемый, воротив мысли Глеба Ивановича в сегодняшний день. Да и толку думать о покойниках?

– Ошибаетесь, – возразил Бокий небрежным тоном, будто речь шла о чем-то самом незначительном. – Да, мы можем подвести вас в любую минуту под высшую меру. Можем, но не станем. Власть наша укреплена недурно, нет необходимости в ликвидации всех несогласных. Вы ведь отчасти сталкивались с деятельностью моей лаборатории? Во всяком случае, несомненно, о ней были наслышаны. Я постоянно испытываю нужду в человеческом материале. С нашей бюрократией еще есть немалое количество сложностей. Но скажите... разве не увлекательная перспектива – участие в установлении физического бессмертия? Не спорю, есть риск. Но вдруг именно вам посчастливится первому?

Вот теперь Бокий, вне сомнения, видел душу собеседника. Она металась в глазах, словно человек, замурованный заживо, в панике, вслепую выщупывая и не находя выхода.

– Этот шанс реален, – как ни в чем не бывало продолжал Бокий. – Поверьте, наши... подопечные уже не умирают. То есть не то хотел сказать, право, шутка вышла. Еще не бессмертны, конечно. Но не умирают при опытах. При первых опытах подобное было неизбежным, но мы же разумные люди. Весьма разумные. Поначалу использовался самый бросовый материал. Подростки, пролетарии...

Бокий поморщился: царапнула неприятная мысль. Он не отогнал ее сразу, легко позволив себе забыть о человеке визави. Впрочем, и это тоже было частью отработанной методики.

Да, мысль неприятная. Стоило ведь поспешить. Взять из Ташкента этого профессора Михайловского, перевести на Соловки. Можно было, для скорости, арестовать, чтоб долго не возиться.

Рассказывают, он достиг прекрасных результатов. Сначала на собаках, после на обезьяне. Умертвлял животных, затем вливал в них кровь обратно. Какую-то особую кровь, «промытую». Обезьяна Яшка ожила. Восторгов была тьма. И в газетах писали о «дороге в бессмертие». Ему бы теперь ставить опыты на людях, уже пошли бы первые успехи.

Эх, был бы жив Яша, непременно бы ему эту ожившую макаку и подарить бы. На день рождения. Вот бы злился... Что-то второй раз Яша, покойник, вспомнился. Ладно, в плохие приметы мы не верим.

Но первый опыт профессора на человеке оказался и последним. Точнее сказать, не на человеке, но на человеческом теле. Подопытным телом оказался мальчик двенадцати лет, сын профессора, умерший от скарлатины. Профессор, работая над своими составами, унес тело к себе на кафедру и держал несколько лет в шкафу. Доносят, что студенты сделали себе из этого трупики потеху. Профессор ведь покупал одежду, игрушки, надеясь, что они еще пригодятся ребенку. Студенты это и устали выщучивать. Ну да что взять с тупого дурачья.

А вот церковники живо поняли, что смешного им мало. Воскресит Михайловский ребенка – им придется прикрывать лавочку. Победа советской науки над смертью...

И ведь в который раз мелькает имя этого хирурга, владыки Луки... Хирург-епископ, это ведь неспроста. Конечно же, этот хирург в рясе возмущался, добивался, чтоб мальчика похоронили.

Конфликт мракобесия и науки. Тренёву и Лавреневу уже велено его отразить. Лучше в драматургии. Работают. Каждый над своей пьесой. Надо бы им спустить указание: что поп и сам хирург, этого не надо. Это лишнее, и наш народ такого не поймёт. Или сами догадаются, не впервой.

И что же? Мальчик не ожил, профессор застрелился, поп, конечно, восторжествовал.

Местные чекисты, впрочем, арестовали вторую жену, а возможно, дело удастся повернуть и против попа. Но что толку? Надо было вмешаться раньше. Рецепты Михайловского утрачены.

Успей мы чуть раньше, как бы оно всё было тихо да ладно: профессор бы сейчас преспокойно пластал каких-нибудь беспризорников как лягушат, глядишь, и первые наблюдения бы уже обобщил.

И так во всем. То тут не успели, то там недоработали.

Любопытно все ж: правы ли Яшины единоверцы, что в крови самая загадка-то и содержится? Может, раввинов порасспросить, вдруг ключик тут найдется к бессмертию по Михайловскому?

Третий раз, однако же, Яша вспомнился. Оно бы и довольно. Тем более что сейчас другую тему надо развивать.

Минута размышлений, впрочем, пошла впрок. Взглянув на собеседника, Бокий понял, что нервы его перенапряглись до нужного предела.

– Чего вы хотите от меня? – голос прозвучал сдавленно. Теперь посетитель уже не сдерживал дрожи рук, комкавших платок, еще час тому отутюженный, а теперь напоминающий тряпочку для кухонного стола.

– Немногого. Всего лишь посредничества в одном достаточно деликатном вопросе.

Глеб Иванович, оставив стакан, потянулся к папке с черным корешком.

Глава X. Единственный

Резкий порыв Ладожского ветра, подхватив выскользнувший зонт, взметнул его вверх огромной летучей мышью. Вспорхнув, перепончатая тварь пошла на снижение, приземлилась и резво помчалась уже по булыжникам – в сторону Арки Главного штаба.

Он только рассмеялся вслед скачущей черной твари, хотя первые струйки дождя уже забили по камням. Распахнул полу сюртука, предлагая спутнице своей наинадежнейшее убежище на свете. В нем она и укрылась – слушать теплое биение сердца.

На всей площади было, что неудивительно, пусто. Рваные тучи, вода, стремительно взмывающий в небеса Александрийский столп, прямо под которым они и стояли. Обрамленные тусклым ненастьем, брусничные стены Зимнего дворца словно светились изнутри.

«Жаль зонтика. Почему ты его не догнал?»

«Не думаю, что его спицы способны пережить подобное приключение. Зонт и без того дышал на ладан».

Его сердце билось мощно, ровно и очень надежно. Это биение она слушала впервые. И будет слушать теперь до конца своих дней.

Дождь затекал за шиворот. Его губы коснулись ее макушки. Кажется, они собирали капли влаги с ее волос.

«Осталось три дня», – шепнул он.

«Я так боюсь, вдруг что-нибудь помешает». – На самом деле она ничего не боялась: чего ей было страшиться, слушая эти могучие удары?

В действительности все, касающееся обрядов, Таинств и треб, в те дни висело на тончайшем волоске. Обезумевший, больной, родной город.

Все будет хорошо. Никто не помешает венчанию.

«Когда я здесь стою, – он вскинул голову вверх, судя по тому, что губы прервали движение по ее намокающим волосам, – мне нравится вспоминать о том, что вся эта титаническая колонна удерживается лишь своим весом. В этом – какая-то магия каменной силы, покоренной гением смертного».

«Не надо... А то я буду думать, а вдруг он упадет?» – Она содрогнулась, но немного нарочно, чтобы вынудить эту руку еще крепче прижать ее к груди.

«Ты придешь завтра в студию?» – Они оставались одни, на целой площади и во всем свете, но он говорил тихо, словно кто-то мог подслушать безмерно важный разговор.

«Ты хотел бы? – Она поморщилась. – Коля, эти твои студии... Они меня так не любят». Он рассмеялся.

«Они отчего-то считали, что я опять должен жениться только на поэтессе. То есть на одной из них. Благодарю покорно. Твой талант сейчас восхищает меня много сильнее».

«Мой... талант?»

«Твоя красота».

Она высвободилась из складок сыроватого сукна.

«Я уже слышала от твоих учениц, что ничего кроме нее у меня и нет. Но не думала, что это повторишь ты».

«Люди глупы, – его насмешка была надменной. – Где она, грань между душой и телом? Почему мы считаем талантом красивый голос, но не считаем талантом красивое лицо? Твоя красота вдохновенна, она отражает твою душу. Ты похожа на Симонетту Веспуччи. Не слушай никого, кроме меня. Я ведь скоро буду твоим мужем. Ну и...»

«Ты всегда перевернешь по-своему».

«Я схожу с ума от твоих волос. Они пахнут сиренью, они почему-то всегда пахнут сиренью. Но где же твоя шляпка?»

«Мамап ее спрятала. Она сочла, что погода не подходит для прогулок».

«Скоро твои шляпки буду прятать только я. Если, конечно, ты вздумаешь прогуливаться с кем-то другим».

Она поспешила возвратиться в свое намокающее убежище.

«О чем ты вздохнула, радость?»

«Мне немного страшно, Nicolas... Скажи, это не грешно – быть такой счастливой, когда столько горя вокруг?»

«А когда же еще и испытывать счастье? Привкус смерти придает ему особый букет».

«Папа говорил вчера, что Ленин требует нового террора, децимации. Он не мне это сказал, а маме и брату, но я услышала».

«А ушки на вид – такие маленькие. – Его губы коснулись уха, выглядывавшего наружу. – Пусть Ленин кричит что хочет, из Москвы ему теперь надо орать во все горло».

«Здесь тоже много... этих», – тревога ее не стихла.

«Ces animaux ne sont pas aussi gros que ceux-ci».

Она проглотила улыбку, не позволив той пробежаться по губам. Французский язык был слабым местом Коли. Способностей к языкам он не имел. Грешили и произношение и грамматика. Как он умудрился быть с французским столь небезупречен после Царскосельской гимназии и Сорбонны – оставалось только гадать.

Но ведь он искренне не понимает, как это ужасно:

Les nuages couleur de feu,
Les filles d'une beauté unique,
L'escarpolette, et devant eux
Un prince jeune et magnifique.

И начало тоже... «Прятки» не влезли, он их вовсе убрал.

Soyez surs, quand Je mourrai
Fatigue de ma vie insaine
Secretement je deviendrai
Une miniature persane.

Нельзя так... Можно бы хоть как-нибудь... Как бы...

Quand je mettrai la fin
A se jeu de cash-cash...
Mon sauveur me fera
Une miniature persane.

Рифмы надо подобрать получше... Но все ж это ближе к оригиналу. Только поди, посмей ему сказать... Разгневаешься невыносимо. Он же считает себя хорошим переводчиком. Нет, нельзя ему говорить... Никак нельзя.

«Ты какую-то каверзу затеваешь», – его голос улыбался.

«У всякого свои маленькие секреты».

«Только не от меня!»

Она рассмеялась, и он отвлекся от опасной темы, вновь заблудившись в ее волосах.

А дождь плакал всё гуще, но это были ещё весёлые летние слезы. Живая, бодрящая, пьяная немного влага.

Оставалось пять дней до их венчания. И неделя – до выстрела Леонида Каннегисера.

Страшный медовый месяц, в разгар нового витка красного террора. Террора лютого, даже прежде невиданного. Черные кожанки и матросы могли нагрянуть в любой дом, в любое время.

Колин наган всё лежал наготове – ночью и днем. Она знала число патронов. Два из них предназначались им самим, и это было правильным. Она знала – рука его поднимется, в их руки она, жена его, не попадет живой.

«Но пятерых я сначала заберу», – его лицо темнело.

И все же они были счастливы. Ах, Лена, громко ли говорит в твоей крови то черное время, когда затеплилась твоя жизнь?

«Не тревожься, Аня. Если Господь посылает нам дитя – мы сумеем его уберечь. На всё Его святая воля. Только я очень хочу, чтобы это была дочь. Сыновья уже есть, ну и ладно. Дочь, похожая на тебя, этого дивного типа Симонетты».

Тогда она еще не знала, почему он сказал «сыновья», а не «сын».

«Nicolas, а не слишком ли печально походить на Симонетту?»

«Она будет жить сто лет, наша Лена».

«Почему Лена?» – Она нахмурилась. Неужели он думает, что до нее не доходило слухов об этом парижском его увлечении?

«Древнее имя, догреческое. Я очень его люблю. Пламя, огонь. Она будет поэтом».

«Уж так ты наверное решил, что она?»

«Да, я решил. Это будет девочка. И даже не спорь».

Этот разговор случился месяца через три после пьяного дождя, когда город уже примерял золотые осенние ризы. Когда ужас сентябрин остался позади, а они – пережили террор.

Сколько лет прошло – неужели чуть больше десяти? Кажется, будто сто.

И нынешний дождь вовсе не похож на тот, счастливый. Под ним холодно, и что толку тут стоять?

Анна Николаевна зябко подняла воротник, окинула взглядом пустую холодную площадь.

Она стояла одна под легким дождем, так непохожим на давний. Одна на площади, одна в городе, одна в целом мире.

Глава XI. Удар в спину

Солынин уже ждал Энгельгардта, прохаживаясь взад-вперед у Фонтанного дома, который Николай Александрович все еще не научился воспринимать мертвым музеем вместо гостеприимного дружеского крова. От Фонтанки веяло тоскливым осенним холодом, погоняемые ветром тучи ползли почти что по крышам. Ноябрь – ноябрь, когда слишком свирепо холодны неукатанные снегом мостовые и тротуары.

– Что за странное время для прогулок, Андрей? – Николай Александрович перекинул черную трость с набалдашником в виде головы египетского божка Ибиса из руки в руку. Он до сих пор еще не слишком нуждался в ней, хотя привычка сложилась уже давняя.

– Тут удобнее поговорить, – хмуро отрезал Солынин, глядя куда-то через плечо Энгельгардта.

– Ты опасаясь соседей? Право, пустое. У нас надежные двери и стены.

– Твоей семье также ни к чему случайно услышать.

– Воля твоя. – Энгельгардт нахмурился в свой черед, взглядевшись в лицо старого приятеля. – Я весь внимание. Что-то случилось?

– Не совсем так. Но может и случиться.

Некоторое время они шли по набережной молча.

– Скажи, Гард... – Солынин наконец прервал молчание, словно бы через силу. – Ты ведь хорош был с покойным зятем?

– Что теперь о том? – Не изменившись в лице, Энгельгардт вновь занялся своей тростью – с легкостью завертев ее в руке, словно клинок на фланкировке. Движения его были уверенными и молодыми. – Nicolas мертв уже десять лет. Ты нашел странную тему для срочного и столь конфиденциального разговора. Дела, как говорится, давно забытых дней.

– Твой зять был не тем человеком, которого могли бы забыть – что друзья, что враги.

– И это верно. Сейчас его стихи полностью под запретом. Но, продержись запрет хоть еще полвека, им суждено жить. Но ты ведь теперь не о стихах?

– Нет, не о них. – Солынин очевидно собирался с силами. – Я о том, что из всей родни только ты мог разделить с ним некоторые его секреты. И, как поговаривают, поделил.

– Поговаривают? Кто же?

– Многие. Я, к примеру, слышал от Рюрика Ивнева одну презанятную историю, а тот, в свой черед, кажется, от Бальмонтов... Это уж и вовсе близко к твоей семье.

– Какой еще Ивнев? Не знаю такого. – Энгельгардт, казалось, думал вовсе не о том, о чем спрашивал.

– Поэт.

– А, да... Красный бугор с какой-то кузнечной настоящей фамилией...

– Не только он. А когда слухи ходят, Гард, они ходят на круги по воде, всё шире да шире. Слухам свойственно проникать сквозь двери и стены. – Солынин резко остановился. – Гард, тебя ни разу не удивляло, что тебя, первого черносотенца Империи, ни разу не потревожили с Гороховой? Эти люди стирают с лица земли за вдесятеро меньшее, ты ведь знаешь.

– Не удивляло. – Энгельгардт надменно усмехнулся. – Террор – лотерея. Тем он и силен, тем и страшен. Быть может, довольно ходить вокруг да около? Что и кому нужно от моего покойного зятя и от меня?

– Ты сам уже догадался. Ты же не раз показывал мне наброски лингвистических наблюдений из его странствий по Черной Африке. Но едва ли его знакомство с дикими племенами, прежде не выдавшими белых, сводилось только к лингвистике.

– К этнографии, разумеется.

– Большой дом, что сейчас строится втрое больше прежнего, не слишком интересуется этнографией.

Слова, наконец, были сказаны прямо.

– Ты полагаешь, что я удивлен? – на губах Энгельгардта играла улыбка – недобрая и опасная, напоминающая бритву. – Ты давно уже ходил вокруг да около, расставляя силки окольных вопросов. Но в них ничего не попало. Поэтому ты сейчас решился на сомнительную откровенность. Это низко, Андрей.

– Я не знал, как тебе открыться.

– Но знал, что тебе надлежит делать. Не оправдывайся, такого не положено извинять.

– Ты не был в их руках, – огрызнулся Сольнин. – Тебе не понять.

– Вот ты и решился обогатить мой жизненный опыт? Полагаю впрочем, что поначалу ты надеялся обойтись донесениями об отсутствии результата. Но там не те люди, не стоило обольщаться. Тебя поторопили, я полагаю.

– Если хочешь знать, да. – Сольнин поднял воротник пальто, словно ветер сделался злее. Хотя на самом деле ветер как раз притих.

– Так что им надобно?

– Сотрудничество. Нет, не то, о чем ты, для этого у них есть иные фигуры, пешки. Блюмкин сокрушался в свое время, что Николая Степановича расстреляли так быстро. Он ведь подбирался к нему. Ты знаешь, что большевики держат особые лаборатории – по изучению сверхъестественных явлений. Мы с тобой еще давно говорили о том, только лишь я воротился с Соловков.

– Тогда ты говорил немного в ином ключе. *Vecilla regis prodeunt inferni*, как перефразировал Дант. И становиться под них ты не намеревался. Но пустое. Ты, я вижу, уже подписал бумажку кровью, или принял циферки на ладонь, или не знаю, какая нынче мода. – Энгельгардт приостановился, глядя вниз, на движенье хмурой воды. – Чего от меня хотят? Нельзя ли ближе к делу?

– Очень многие слышали некий рассказ. – Сольнин говорил теперь безразлично неживым голосом, нарочито отстраняясь от собеседника. – В своих путешествиях Гумилев однажды встретил умирающего негра. Дряхлого, лет ста, колдуна. Версии о принадлежности к племени расходятся. Называют по меньшей мере пять племен. Но какое бы племя ни было, полагают, что наверное это известно тебе, только свое племя старец за какую-то не вполне понятную белому сознанию вину проклял. Потому и ушел умирать в одиночестве. Смерть колдуна, как мы с тобой не раз читывали в сюжетах мигрирующего фольклора, не должна быть внезапной. От наших деревенских бабок до черных людоедов наблюдается одно и то же. Носитель некоей энергии мучится хоть неделями в агонии, покуда не передаст силу.

Картинка прошлого, возникшая перед глазами Энгельгардта, вспыхнула ярко, как картинка из волшебного фонаря, затмив тусклый день, странно поблекшее лицо собеседника, мертвенные краски нового мира. Одурающий запах свежескошенного сена, сияющие в солнечных лучах чистые стекла широко распахнутых окон. Смоленщина. Молодость. Тот же Сольнин, приглашенный в имение разделить каникулярное безделье, те же разговоры о магии и мистицизме, но лишённые нынешнего налета гнусности, чистые. И такая прозаическая, настоящему волшебная жизнь, обрамляющая упражнения юных умов: земляника в молоке на

столе, в обыденном кузнецовском фарфоре с голубой каймой, непрменные звуки жизни скотного двора, отдаленные, но отчетливые. Залетевший в комнаты овод, которого деревенские называют «паутом». Как пришли мы к сегодняшнему дню по ведшей от имения дороге?

Э, нет. Не время обращать время вспять, покоряясь случайной ассоциации. Сейчас надлежит собрать все душевные силы, на кону жизни Лены и Ани. И всей семьи, конечно, но Аню и Лену может затронуть в первый черед.

– Колдун, о котором идет речь, терзался особенно долго, – таким же механическим тоном продолжал Сольнин. – Ведь поблизости было лишь его племя, из которого он стремился силу увести. Племя было виновато, очень виновато перед духами предков. Колдун валялся в зарослях у ручья, на протертой шкуре леопарда, что служила ему всю жизнь, питаясь лишь съедобной травой, до которой мог дотянуться. И боялся, что страдания продлятся недели и месяцы. Но тут появился чужой.

– То есть мой зять. И сыграл со старым африканцем в передачу силы? – поинтересовался Энгельгардт.

– Я склоняюсь, что это были гурабе. Их ведь потом вырезали. Но, коль скоро ты словно бы не знаешь сказки, то сюжет немного сложнее. Твой зять был слишком молод для подобного дара. Да и – скорее воитель, чем жрец по психологическому облику. Он лишь согласился передать нечто вроде посылки, предназначенной старшему родственнику. Родственнику, который изрядно сведущ в подобных вопросах, изучал биографию Калиостро.

– Стало быть, обыск мне тогда не почудился. Искали, я так понимаю, артефакты? – Энгельгардт рассмеялся. – Ну, разумеется, я бы прятал их в детских игрушках. Уж вещей ребенка могли бы и не касаться.

– Наличие какого-либо талисмана он не исключает. – Сольнин не обратил внимания на иронию.

– Он? – быстро переспросил Энгельгардт. – Бокий?

– Да. Его постигло некоторое... разочарование в работе по восточному направлению исследований. Блюмкин в последние свои годы между тем работал по изучению культа вуду в политических практиках. Все эти бароны Субботки... Но Порт-о-Пренс – не единственное место применения практической магии. Дикая Африка, возможно, много богаче для изучения. Черная раса, как считают некоторые, не отсталая. Она лишь идет иным путем – путем немислимых для белых манипуляций с телом и душой.

– Еще недавно ты называл это сатанизмом, – Энгельгардт, не удержавшись, тут же подсадовал на себя. Какой смысл имели теперь эти упреки? Ведь знаешь, но язвись душу бывшего друга, словно колешь булавкой кожу прокаженного: есть ли еще живое, чувствительное к боли, место?

– Теперь я не боюсь ада, Николай Александрович, – Сольнин, словно ставя точку на былой дружбе, отставил юношеское прозвище. – Мне сдается – ад пуст. Пуст настолько, что покажется уголком тихого отдыха. Все его работники и насельники уже здесь, вокруг.

– Подводя итоги. – Энгельгардт поплотнее запахнул выдавшее лучшие времена пальто: теперь ветер задувал вовсю – нагонный, западный, в старину звавшийся моряной. – Бокий ждет от меня, чтобы я поделился некими знаниями либо знаниями и артефактами, пришедшими в мою семью из Черной Африки.

– Приблизительно так. – Сольнин полез во внутренний карман, и, справившись с немедля надувшим на груди сукно ветром, достал сложенный вчетверо листок бумаги. – Возьми. Это тебя ни к чему не обязывает.

Лист бумаги, той, что теперь варили в огромных количествах – дрянной, но по три-четыре закладки влезавшей с копиркою в пишущую машинку, в самом деле в этой машинке побывал. Цифры, набитые на нем, холодно отстранялись от живой жизни человеческого почерка. Телефонный номер. Ни единого слова к нему в довесок.

– А номер-то московский, – Энгельгардт, усмехнувшись, небрежно сунул листок в карман. – Стало быть, интерес покуда носит немного частный характер. Без помощников здесь, прямая связь.

– Не то чтобы частный. Но паранормальными явлениями занимаются сейчас только в Москве. – Солынин тускло улыбнулся. – И в лагерях. Но да, это домашний телефон Бокия. Но «Шифровальный отдел», так называется центр лабораторий, утвержден официально. Самим Дзержинским. Это не инициатива одного лица, отнюдь.

– Так я и понял. Ну что же, – Энгельгардт перекинул трость из руки в руку. – Мне сдается, мы исчерпали тему разговора. Расстанемся на том. Полагаю, дальнейшие мои дела тебя уже касаться не должны. Прощай.

Солынин, не ответив, резко повернулся и зашагал по набережной прочь. Некоторое время Энгельгардт смотрел вслед другу молодости – на его тяжело ссутулившиеся, словно под бременем предательства, плечи. предавать нелегко, это трюизм.

Но, едва отведя взгляд, Энгельгардт очевидно задумался о другом, более насущном. Краткий, горький смех вырвался у него.

– Это невообразимо, – проговорил он наконец, обращаясь в промозглую пустоту. – Невообразимо. Страной управляют клинические идиоты.

1934

Глава XII. Юные души

Этой весной Лена чаще, чем когда-либо, ходила в Летний сад. Бродила по аллеям, садилась почитать всегда на одну и ту же скамейку, напротив Навигации. Прогулки свои Лена совершала одна, непременно и только одна. Никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой. Она одновременно и нуждалась в уединении, и тяготилась им. Дедушка прав: юные годы на самом деле – испытание, притом нелегкое.

Только вот даже об этом теперь поговорить с бабушкой почему-то не получается. В детстве она рассказывала ему всё, то есть всё, что хотела. По крайней мере, то, что можно было рассказывать взрослым. Про Надежду Павловну, к примеру, рассказывать не стоило. Впрочем, а была ли она, Надежда Павловна? Может статься, Лена самое ее сочинила, тем паче – куда-то делась единственная записочка.

А теперь – даже с бабушкой не так. Хочется быть прежней, откровенной и свободной, а не выходит. С мамой и бабушкой еще того хуже. Мама чуть что тревожится, что ей можно рассказать? А с бабушкой Лена всегда скорее играла роль внучки, какой должна быть в бабушкином представлении. Не притворялась, но так выходило проще.

Одной сейчас лучше, особенно после школьного дня. Все сделались вдруг новыми, неожиданными. Только разве учителя, особенно нелюбимые, остались те же самые – с нудным энтузиазмом, который никого не мог ввести в заблуждение.

Как же здесь хорошо, особенно если нехорошо. Пусть и нет сейчас настроения вести со статуями долгие тайные разговоры, но все ж невежливо, направляясь к любимой скамейке, вовсе не улыбнуться или не кивнуть Ноченьке или Мореплаванью. Старые друзья. Старые, неизменные и надежные.

Книга на коленях – как защитный талисман. С книгой тебя здесь, в Летнем саду, никто наверное не потревожит. Здесь это не принято. Неписанные законы вежливости еще живут в Летнем саду.

Неважно, что она больше кружится в странном хаосе своих мыслей, чем читает. Книга уж с полчаса, как раскрыта на одной и той же странице, 39-й.

«В тех случаях, когда я слишком рассержена, или даже просто раздражена, я делаюсь неестественно спокойна. Этот тон взбесил ее еще более; она ожидала вспышки.

– Вам 13 лет, как вы смеете!

– Именно, т-це, мне 13 лет, и я не хочу, чтобы со мной так говорили; прошу вас не кричать.

Она вылетела как бомба, крича и говоря разные неблагопристойности. Я на все отвечала спокойно, отчего она приходила в еще большее бешенство.

– Это последний урок, что я вам даю!

– О, тем лучше! – сказала я»³.

Лена усмехнулась. Подумаешь, геройство. Ты вот попробуй простоять минут двадцать с непроницаемым лицом, покуда разорвется Розалия. И твоя мама ее никак не рассчитает, уж это несомненно. Нет, неприятная эта Marie: отчего мама с подругами в Ленином возрасте сходили по ней с ума? Впрочем, мамины старые книги ей многие непонятны. Тоже вот «Княжна Джаваха». Но это уж года полтора назад было. Мама ее тогда вытащила, пыльную из глубин плакара, с таким счастливым видом, будто нашла сокровища Али-Бабы из своего же куколь-

³ Мария Башкирцева. Дневник.

ного спектакля. Джаваха показала Лене на редкость противной девицей. Мама огорчилась и немножко обиделась, но дедушка неожиданно поддержал Лену. Не вполне, правда, понятными показались слова его защиты. «Дитя право, Аня. Она чувствует беспредельную фальшь этой всей нашей романтизации Кавказа. А что хорошего? Вправду ведь говорят, одно умаление титулования. Всякий головорез, у которого в подчинении пятеро таких же головорезов и в собственности дюжина баранов – уже князь. Что Россия видела от этого края, кроме головной боли? А нынче и вовсе доромантизировались – посадили себе на шею понимаешь кого». Мама тогда испугалась почему-то и противную книгу отложила подальше. Дочитывать не пришлось.

И эту великую разнесчастную Marie, пожалуй, она тоже не станет домучивать до конца. Завтра найдет дома что-нибудь поинтереснее.

Лена машинально попыталась стряхнуть пальцами листовенную тень, закачавшуюся на странице. Усмехнулась своей ошибке.

Классе в пятом, когда Лена печалилась над книжкой об осаде Парижа, дедушка к слову рассказал ей о том, как из осажденного Парижа летали на воздушных шарах. На воздушном шаре полетать ей и до сих пор хочется еще больше, чем на аэроплане. Весёлая корзина – гондола, что качается, как палуба корабля. Нет, больше: как качели. Воздухоплавание... Мореплавание, жаль, нет у тебя здесь воздушной сестры! Крылатой сестры с картой небесных течений в руках.

Профиль Навигации сделался четче, белизна мрамора налилась молочной, лунной яркостью. В саду неуловимо менялся свет, сгущалась та особая призрачная белизна, свойственная только здешним летним ночам. Скоро сторож начнет сердито обходить дорожки. Уже и гуляющих почти не осталось.

Ах, нет, где-то недалеко за деревьями ещё слышится разговор...

Разговор? Не разговор, голос оказался одинок. Мужской голос. Нет, не мужской – ломкий, юный. То звонкий, то глуховатый, как расстроенное фортепьяно.

Голос подошел ближе.

Лене неожиданно сделалось зябко.

– Созидающий башню сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт
И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт.
– ...Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И Всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит, —

бросила Лена в зелёную полутьму, опередив незнакомого на несколько мгновений.

– А ушедший в ночные пещеры,
Или к заводям тихой реки,
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки,
– ...Не спасёшься от доли кровавой,
Что земным угодила твердь.

Мальчик, нет, уже не мальчик, это подумалось зряшно, юноша, ведь и самое Лена уже девушка, а не девочка, вышел из-за шторы и остановился перед ней. Вовсе не наблюдательная, она почему-то одним взглядом вобрала на сей раз всё: высокий, на голову ее выше, темные

волосы открывают высокий лоб, слишком, пожалуй, тонкие губы, напряженные, не улыбочивые, горделиво вскинутый подбородок. Лена отметила и тщательную складку на брюках из «чертовой кожи», и то, что рукава «охотничьей» куртки незнакомцу уже коротковаты. Эта беда и ей была постоянно знакома, поэтому странно роднила. Белые воротнички и темный шейный платок были к лицу.

Между тем ритм стихотворения даже не успел сбиться.

– Но молчи: несравненное право
Самому выбирать себе смерть, —

произнесли два голоса.

Юноша старорежимно стукнул каблуками и уронил подбородок.

Простые и банальные слова казались невозможны сейчас, когда стихи убитого поэта еще дышали среди статуй Летнего сада.

Лена захлопнула книгу и коснулась рукой сиденья скамейки. Приглашающий жест вышел уверенным, почти властным. Она могла бы удивиться тому, что не испытывает смущения, столь свойственного ей с чужими, но не удивилась.

Не стушевался и молодой человек. Просто присел на скамью – так, словно встреча их подразумевалась заранее.

Некоторое время они молчали, глядя в темнеющие заросли.

– Я думаю, что сегодня выбрал, – наконец произнес новый знакомец.

Лена не ответила. Это сейчас было вовсе не нужно, неправильно.

– Они хуже стариков, – собеседник обернулся к Лене. В призрачном вечернем свете лицо юноши казалось таким же белым, как статуи вокруг. Но на щеках, вовсе не как у статуй, темнели засохшие порезы – следы еще не слишком-то необходимых стараний. Серьезные глаза вблизи оказались зеленоватыми, а не карими, как показалось сначала. – Всё ищут себе в будущем дырки между жерновами. Куда возможно пристроиться учиться, где служить... Они так и хотят жить, жить как ни в чем не бывало. Жениться, детей завести... А ведь только роди здесь ребенка – и всё, подарил им заложника. Здесь нельзя ничего иметь. Иначе – ничего не сделаешь.

– Чужие дети тоже заложники, – тихо сказала Лена. – И просто чужие люди. Помните, сколько за Войкова людей убили?

– Беда не только в жертвах. Это ничего не дало.

– Кроме отмщения, – вступилась Лена.

– Месть не самоцель.

– Ну, кажинный вечер одно! – заныл, приближаясь шаркающей походкой, сторож. Этот сторож, как помнила Лена, был зловреднее своего сменщика. – Сколько можно рассиживаться в общественном-то месте, а? Ходи тут, ищи их! И сидят, и сидят, будто мёдом им тут намазано.

Лена фыркнула в перчатку, подумав, что не очень хотела бы сидеть на скамейке, намазанной мёдом. Усмехнулся и мальчик, поймав ее мысль.

– Хиханьки да хаханьки... Вот высыплют папаши-мамаши по первое число за опозданье, посмеётесь тогда...

Старик ворчал уже вслед.

– Я вас провожу. – Обязательного вопроса в словах не прозвучало. Этот вечер, эта предельная высота откровенности, возможная лишь в отрочестве – всё выходило само собой.

– Мы живём в Эртелевом переулке. Я, мама и дедушка с бабушкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.